

В. СЕМЕНОВ • КРАСНЫЕ КАМНИ

Валентин Семенов

КРАСНЫЕ КАМНИ



Валентин Семенов

КРАСНЫЕ КАМНИ

Повесть,
рассказы

Центрально-Черноземное книжное издательство
В о р о н е ж — 1984

P2
C30

Семенов В. В.

C30 Красные камни. — Воронеж. Центр.-Черноземное кн. изд-во, 1984 — 191 с.

ИСБН

Эту книгу воронежский литератор посвящает юношеству. Герои повести «Красные камни», рассказов «Галка», «Гол для Тани» и др.— дети суровой военной поры, в трудных буднях постигающие серьезные жизненные ценности.

483112-020

С М161(03)-84 71-84

P2

© Центрально-Черноземное
книжное издательство, 1984.

Красные камни

повесть



Глава первая

Всем мальчишкам часто снится, что они летают. Но в эту глухую мартовскую ночь 1945 года я, прежде чем полететь во сне, сначала убежал от какого-то страшного, огромного существа. Оно подстерегало меня за каменным углом. Я на чугунных ногах шел в жутком свете, а впереди была ночь, и там было это существо. Я никак не мог остановиться, ноги мои шли вперед, прилипая к земле, сердце обмирало от страха. Оковы нестерпимого ужаса надо было разорвать как-то, и я закричал и так, крича, сначала медленно, тяжело поднимая ноги, а потом все быстрее побежал мимо нависшего надо мной каменного угла. Я разбежался, чувствуя спиной надвигающуюся темноту и вытягивающуюся из нее мохнатую лапу, но я уже бежал все

быстрее и легче, страх исчезал, и вот я оттолкнулся от земли и легко взмыл вверх, разбросав в стороны руки.

Ночь удалялась и уменьшалась внизу, а впереди было ослепительное зеленое пространство, геометрически расчерченное и залитое солнцем.

Я парил и кувырвался в этом солнечном мире, пикировал вниз и резко взмывал в голубую бездну, упиваясь ощущением полета и власти над собственным телом.

— Витя, сынок, — услышал я голос матери и проснулся. Мама, улыбаясь, смотрела на меня. — Ты что смеялся во сне, сынок?.. Летал небось?

Мама погладила меня по голове. Рука у нее была теплая и жесткая и пахла краской и металлом.

— Растешь, мужичок мой... Хлеба небось хочешь?.. Тогда вставай, пора в очередь идти...

Под маминой рукой я разнеженно потянулся.

На маме было старенькое, еще довоенное пальто, на голове — теплый платок, на ногах — подшитые валенки. Лицо ее усталое, морщины углубились, темные тени под глазами...

Я вылез из-под одеяла, обнял маму и прижался к ней.

— Ты только со смены?..

— Часок вздремнула... Картошек сварила. Ешь и пойдем. Народ уж стоит...

Будильник на комоде, звонко тикая, показывал четыре часа утра.

Я ел вяло, еще не проснувшись, а мама, подперев голову кулаком, смотрела на меня.

Из-за плеча ее, с фотографии, висевшей над комодом, смотрел на меня отец. Это было все, что от него осталось. Его вещи мы все выменяли на еду, а из некоторых отцовских одежд мать сшила мне рубахи, штаны и пальто.

Отец строго глядел на нас с мамой, стоя рядом с

гипсовой скульптурой дискобола в нашем парке культуры и отдыха. Этому дискоболу оторвало снарядами руку с диском. Он так и стоял теперь в пустом и израненном войной парке, застыв в резком повороте. Без руки... Я каждый день хожу мимо него в школу...

Родители мои ушли в голодном тридцать втором году из деревни на стройку авиационного завода, и там их жизнь сложилась удачно. У отца обнаружился талант слесаря, и скоро он стал профессионалом высокой руки. Мать — трудяга в крестьянстве — была трудолюбива и в рабочем звании. Она малярила.

Жили они в любви, были молоды, веселы. Одними из первых получили квартиру в новом поселке около завода.

Началась война. Отец добровольцем ушел на фронт и погиб под Ленинградом в 1941 году. Когда фронт подошел к Воронежу, мы с мамой ушли пешком в ее деревню.

Потом немца отогнали, и мама, забрав меня с собой, вернулась на завод. О том, что мы увидели тогда, зимой 1944 года, на месте нашего города, трудно сейчас рассказать... Города не было. Было огромное пепелище по обе стороны реки с обугленными и пустыми коробками домов и развалинами. Солнце на заре, утренней и вечерней, багровым светом заливало груды кроваво-красных камней — осколки когда-то большого и уютного человеческого жилья, и в этих осколках теплилось наше детство, и трудно, в холоде и голоде, в рванье, в тесноте и горе, начиналась новая послевоенная жизнь.

Рано, очень рано, глаза мои закрываются сами собой, и так не хочется идти в ночь и мороз из домашнего тепла. Но идти надо. И мы с мамой идем.

Мы идем в прозрачной и холодной мартовской тьме по пустой, угрюмой улице. Снег хрустит под ногами. Луна стоит среди разорванных облаков.

Я озяб и, чтобы согреться, побежал впереди мамы, подбирая камни и кидая их, стараясь попасть в черные проемы бывших окон. Камни влетали в темноту и исчезали там, гулко стуча по обнаженным стенам.

— Мам, а у Ваньки Сизаря вот такая шишка на лбу! Мы вчера со школы шли, а один из ремеслухи пристал, дай закурить да дай, а Иван не дает, тот снял ремень да пряжкой как звезданул Сизаря по голове — и бежать. Не догнали мы его, а то бы...

— Что же вы все деретесь, паршивцы этакие... Закурить ему... Сопляки... Ты-то не куришь?

— Не-е, мам, я раз попробовал, голова кругом пошла... противно...

— И не пробуй, сынок. Гадость это.

Мама прижала меня к себе, и мне стало хорошо и тепло подле нее, и спать уже не хотелось.

Большими хлопьями пошел снег. Навстречу нам бесшумно пробежала большая белая собака, вернулась, обнюхала наши следы и, виляя хвостом, шла некоторое время за нами, потом отстала, посидела на снегу, глядя нам вслед, и убежала в темноту.

Мама сказала:

— Ты, сынок, пойми... Надо беречься от плохого... Ты меня побереги, сынок, сердце у меня что-то болит. Ты ведь у меня один, и я у тебя одна... Одни мы... Давай беречь друг друга.

Дрогнувшим голосом я сказал:

— Мам, ты из-за меня никогда не будешь плакать!..

Когда мы пришли к хлебному магазину, там, засыпанная снегом, неподвижно стояла длинная черная очередь. Мама громко сказала:

— Здравствуйте, полуношники. Кто восемьдесят пятый? Я за вами...

— Здесь, Катя, — тихо ответила какая-то жен-

щина. — Становись за мной. Я — восемьдесят третья, а восемьдесят четвертый и пятый спят еще, должно быть.

Мама показала всем наши номерки. Это были маленькие квадратики бумаги, их нам дали вчера вечером здесь же у магазина, когда мы занимали очередь на сегодня. На них самодельной печатью были тиснуты наши порядковые номера в сегодняшней очереди за хлебом: восемьдесят шестой — мой и восемьдесят седьмой — мамин. Люди неохотно потеснились и пустили нас в свой терпеливый черед.

Стояли все спокойно, потому что это было привычно и неизбежно; стояли молча, потому что, несмотря на мороз, часы в очереди были единственным свободным временем для раздумий и подремывания.

Всем было о чем подумать. Женщина впереди тихо рассказывала о том, что получила письмо от старшего сына, из Пруссии. Сын пишет, что победа совсем скоро, но бои идут такие ужасные, фашисты так дерутся, что он и не чает остаться в живых.

Все дружно завздыхали: скорее бы конец войне!

Пожилой мужчина говорил, что станки с Урала привезли на завод, а ставить их еще негде, цех еще не готов, всех на строительство бросили, а какой из него плотник: он же токарь, все пальцы себе пооббил.

Говорили о том, что тринадцатый дом на улице Полины Осипенко скоро восстановят, что завком едва ли не трещит заявлениями на жилье.

Страшные истории можно было услышать в той ночной очереди: банда, говорят, объявилась, режут, убивают; письмо повесят на дверь: к такому-то сроку туда-то деньги и ценности. Не отнесешь — выследят и убьют.

Недавно нашли у вогрэсовской дамбы труп. Ножом к груди бубновый туз прищиплен и записка: его проиграла в карты! И подписи везде: «Черная кошка».

— Господи, страсть какую несете! — возмущается мама. — Хватит, бабы, языки-то чесать. Дите вон трясется... Оно и так немецкими бомбами пуганное...

Я говорю с достоинством:

— Совсем я не боюсь, мам! Это все враки, сплетни... Нам в школе сказали.

Очередь уважительно выслушала меня и снова стала стоять, вздыхая и перешептываясь.

Незадолго до открытия магазина появлялся Сергей Иванович Нефедов. Он работал преподавателем военного дела в нашей школе и, как говорила мама, райкомом партии был прикреплен к хлебному магазину следить за порядком и справедливостью.

Это был высокий, худой и молчаливый человек. Инвалид войны. У него не было левой руки. Ходил он во всем армейском. Шинель без погон. Пустой рукав пришит к шинели. Серая шапка-ушанка. Сапоги.

Все было на нем ладно пригнано, он всегда чисто выбрит, свеж, моложав, равно приветлив со всеми, деловит и серьезен.

Очередь его уважала, побаивалась и беспрекословно подчинялась ему, зная и веря, что все, что бы ни говорил и делал этот человек, он говорит и делает только из соображений честности, необходимости и справедливости.

О том, как вернулся Сергей Иванович с войны, часто и охотно рассказывала мама:

— Пришел он как-то вечером... «Здравствуйте, — говорит, — извините, я — Нефедов». Мы-то знали все, кто такой Нефедов, до войны на заводе знаменитым мастером был по клепке. Очень уважаемый человек, Моего Васю знал. На новоселье мы у него гуляли... Растерялась я: что делать?.. Проходи, говорю, Сергей Иванович... Эй, соседи, кричу, собирайся все, хозяин вернулся. Квартира-то до войны его была! Да-а-а, думаю, что-то теперь будет?! Ну, высыпали все... Сундеевы мал-

мала меньше, Кирьяковы с больной старухой, Захаровы двое, мы с Витькой... Смотрим все на него и не найдемся чего сказать: то ли радоваться, то ли плакать...

А мы как раз с Захаровыми спальню Сергея Ивановича перегородили и жили...

Молчим все... Выхожу я вперед, кланяюсь хозяину низко в пояс и говорю:

— С возвращением тебя, Сергей Иванович! С радостью великой, что жив остался!

Подхожу к нему, целую его три раза в обе щеки и в губы. И говорю:

— Вот, Сергей Иванович, видишь, все тут, квартиранты твои... по частям разобрали твою квартиру. Вещи твои целы, пользуемся кой-чем, но не присвоили, и мебель, и посуда... у нас и опись есть... А теперь, воля твоя, как скажешь, так и будет, ты хозяин!

Он как был в шинельке лейтенантской, так и сел на табуретку перед нами. Рюкзачок снял, шапку... Худой, стриженный и без руки.

Тут я заревела, и все принялись реветь.

Посидел он, послушал, как мы ревом, детей подозвал к себе, они жмутся к нему, безотцовщина жалкая... По головкам он их всех перетрогал, сахаром воинским угостил, шоколадом трофейным... Походил по квартире, во все углы заглянул. Сел опять на табуретку и смотрит на нас, а мы стоим перед ним, как на фотографии, бабы да дети... Улыбнулся вроде бы, а глаза невеселые.

— Баня, — говорит, — есть в поселке?

— Есть.

— Тогда, дорогие квартиранты, вытряхивайте свои гуньи из ванной, я там жить буду. Мыться будете в бане. Вот так пока будем жить. Соседом я буду хорошим, я человек смирный, пью умеренно...

— А семья-то твоя, Сергей Иванович... вернутся, по-ди, скоро?..

Сергей Иванович как будто дернулся весь, потемнел и говорит:

— Не вернутся. Не вернутся, Катерина Акимовна, или не слышали?

— Господи?!

— Как уехали в июне сорок первого на Украину, к теще погостить... так и всё... Погибли там... все! Я уже был там, знаю точно.

Мы, все бабы, снова заревели.

Сергей Иванович поставил на стол бутылку водки, консервы.

— Давайте, — говорит, — женщины, помянем светлую душу моей жены Ксюши и детей моих Пашу и Олю. Давайте, — говорит, — выпьем за скорую Победу...

Все так и было. До поздней ночи Сергей Иванович с женщинами пел песни и плакал вместе с ними. Я заснул на маминной кровати, а ночью, как от толчка какого-то, проснулся. От моего диванчика до маминной кровати — руку протяни.

На диване темнели две фигуры и слышалось осторожное движение.

— О-о-о-х! — простонала мама.

Я похолодел, боясь вздохнуть.

— Сереженька! — шептала мама, прерывисто дыша. — За что нам, бедный мой, такая судьба горькая... Все сгорело... У тебя слезы... бедненький... Плачь, плачь, Сереженька, вспоминай свою Ксюшу... Разве я могу обижаться... Я ведь Васеньку моего тоже сейчас обнима-а-а-ю... господи!..

Потом все стихло, и только глухие сдавленные рыдания слышны были из тьмы.

— Плачь, милый, поплачь, родной... Сердце отойдет... Плачь... Поплачь, Сереженька... — все шептала и шептала мама.

Слушая эти горькие слова, я пожалел маму и Сергея Ивановича, не выдал себя ничем, не стал пугать их, а лежал и думал об отце. Почти пять лет его у меня не было, а день получения похоронки я помнил очень

хорошо. Потом это страшное событие стало случаться то в одной семье, то в другой, и все чаще, чаще, и люди уже привыкли к слезам новых вдов и сирот, а наша похоронка была одной из первых, пожалуй, самая первая на нашей улице.

Вот в июле мы проводили отца на войну, а тихим сентябрьским вечером, выучив уроки, я только что вылетел на улицу и побежал под тополями, высаженными в ряд в нашем дворе вдоль всех четырех подъездов, — я очень торопился, мне надо было изо всех сил добежать до сарая, там собиралась игра в жошки, а у меня была жошка, сделанная из новенькой овчины, и кружок кожицы — желтый и опушка беленькая, и расплющенный кусочек свинца аккуратно привязан проволочкой — увесистая жошка, а летает легко, только поддай ее ловчее ногой, а я уже научился подбивать жошку до тридцати—сорока раз — словом, я было помчался за сараи, да у крайнего подъезда налетел на тетю Нюру-почтальоншу. Пожилая грузная женщина, с толстыми больными ногами, обутыми в домашние тапочки, в телогрейке нараспашку, с черной тяжелой сумкой через плечо, она поймала меня в охапку, обняла, притиснула к мягкой большой груди и завыла:

— Сиротиночка моя-а-а!.. Горюшко мое-о-о!..

Ничего не понимая, я вырывался:

— Да чего вы, тетка Нюра!.. Да пусти!..

А та выла и кричала в голос — не на шутку, на весь двор:

— Бабы, подьте сюды-ы-ы!.. Бегите, бабы, к Катке, держите ее под белые рученьки... Ой, горе черное несую ей в этой сумке-то распроклятой...

И так истово она кричала и причитала, и такие слезы лились из ее глаз, что я, восьмилетний тогда, что-то сообразил, испугался и затих. Тетка Нюра подхватила меня на руки и во главе голосащей и причи-

тающей толпы сбежавшихся женщин шла по двору вдоль тополей к нашему подъезду.

Из него уже выскочила мама, простоволосая, в кофточке и в белом фартуке, и растеряннo, с подсознательно растущим ужасом смотрела на нас, криво улыбаясь, машинально расстегивала и снимала с себя фартук и суетливо, мелкими движениями рук приглаживала волосы на голове, словно готовясь к чему-то очень торжественному и важному, что произойдет с ней сейчас.

Все произошло так, как и должно быть, как было и будет всегда. Мама с окаменевшим в жуткой улыбке лицом приняла из рук тетки Нюры похоронку, долго смотрела в нее, шевеля губами, потом закричала и упала на руки женщин.

Почти четыре года прошло с тех пор. Я, уже тринадцатилетний, лежу в темноте на маминой койке и слышу все, что происходит сейчас вот тут, рядом, но нет в моем сердце ничего, кроме жалости к маме и странной, успокаивающей меня удовлетворенности от того главного, что я расслышал в ее горячечном, полубредовом шепоте: имя моего отца было вспомнyто и еще раз оплакано. Значит, все в порядке, значит, так тому и быть, а то, что происходит сейчас между этими двумя взрослыми сиротами, — это не моего ума дело.

Так, постепенно успокаиваясь, смутно грезя какими-то новыми надеждами на будущую жизнь, под слезы и шепот матери, я снова заснул.

...Сергей Иванович прошел в магазин и вскоре вышел оттуда с радостной вестью: в магазин, оказывается, завезли еще и немного муки, по полкилограмма на душу.

Хлеб давали по карточкам, с ним всегда было все в порядке благодаря серьезной и справедливой дисциплине, введенной Сергеем Ивановичем.

Но вот из-за муки очередь сразу заволновалась: кар-

точек на нее нет, кто его знает, хватит ли всем? Женщины побежали по домам за мешочками, снова стали всех пересчитывать, проверять по номеркам, кто-то, как обычно, пытался втиснуть в очередь подставного человека, кто-то уже пролез без очереди, и его вытягивали из нее, ругаясь, а он упирался...

В общем, хлопот у Сергея Ивановича хватало, но он был невозмутим. Высокий и худой, в ладной лейтенантской шинели с пришитым к ней пустым рукавом, он командовал и разводил людей в очереди четко и быстро, обманщики и плуты краснели под его хмурым взглядом.

В магазин пускали по десять человек, очередь все-таки волновалась, сзади нетерпеливо напирали, мама прижимала меня к себе, мы молча мерзли и смотрели, как из магазина выходили, прижимая к груди буханки хлеба и мешочки с мукой, радостно-озабоченные женщины со сбившимися с головы платками.

А одна женщина, в засаленной телогрейке и больших валенках, вышла из магазина, прижимая к груди, как детей, две буханки хлеба и мешочек муки, и шла, возбужденная, и все оглядывала свое богатство и не видела, бедняга, что мешочек-то у нее порвался, и мука тоненькой струйкой сыпалась на снег, и кто-то сказал ей об этом, и она ахнула, присела на корточки, не выпуская из рук хлеб и муку, и так испуганно и беспомощно смотрела на всех, что в очереди засмеялись, и кто-то присел рядом с ней и помог собрать с чистого снега просыпавшуюся муку и утешил ее: ничего, мол, тетка, иди корми детей, оладьи вкуснее будут!

Последняя перед нами счастливая десятка исчезла в дверях магазина, и когда открывалась дверь, теплый хлебный запах кружил голову и очень хотелось есть.

К Сергею Ивановичу подошла девушка, большой живот распирал ее ветхое пальтишко, лицо было бледно. Она что-то говорила Сергею Ивановичу, о чем-то про-

сила и умоляла, прижав руки к животу. Сергей Иванович курил и хмуро смотрел на нее.

Девушка, как уродливое изваяние, стояла перед ним, подняв к лицу Сергея Ивановича большие плачущие глаза.

В очереди кто-то сказал, жалея и злясь:

— Нагуляла, должно... а теперь без очереди лезет... Нашла время рожать...

Сергей Иванович положил руку на плечо девушке, повел ее к дверям магазина.

— Пустите, — сказал он первоочередным. — Вот она сейчас пройдет.

Девушка испуганно держалась за пустой рукав Сергея Ивановича и прятала глаза.

Мужчина, стоявший первым в очереди с двумя сонными пацанами, зло сказал:

— После нас пусть становится... а я не пушу. Подумаешь, беременная. Молода еще и постоять может.

Очередь заволновалась, задвигалась и зашумела. Девушка спряталась за спину Сергея Ивановича и притихла там совсем.

Он сказал:

— Вот дураки! Что вы расшумелись?! Девушка вот-вот родит. Ребенок будет! Она очень плохо себя чувствует. Дома мать тяжелобольная. А вашу муку она не заберет. Я ей свою долю отдам...

Девушка удивленно посмотрела на Сергея Ивановича и отвернулась, покраснев. Кто-то смущенно сказал:

— Ну, раз ты такой добрый, пусть идет, нам не жалко...

Но тут из заднего конца очереди вышла пожилая женщина с ожесточившимся сухим лицом.

— Подождите! — сказала она. — Эх ты, Сережа... Иисус Христос... Я все молчала, смотрела: что же будет?.. Беременная, говорите?!

Женщина вытащила девушку за руку из-за спины Сергея Ивановича. Та уже закрыла лицо руками.

Женщина нехорошо улыбнулась и крикнула:

— А ну, расстегни пальто...

И сама, срывая пуговицы, распахнула пальто девушки, развязала крест-накрест завязанную на животе шаль и вытащила из-под кофты подушку.

Бросила подушку на снег и, сильно размахнувшись, ударила своей сухой, черной от взбухших вен рукой по рукам девушки, закрывшей ими лицо.

— Маруха она, а не беременная... Мать болеет, а она гуляет с бандитами. Эх, Майка, память отца пожалела бы... Ну, погоди, старший брат вернется, он с тебя за все спросит... — кричала женщина, распаляясь и заходясь от гнева. — Господи, прости меня, что делается...

Девушка истерически зарыдала и, не отнимая рук от лица, побежала по улице, спотыкаясь и путаясь в полах расстегнутого пальто. Сергей Иванович смотрел почему-то на лежащую на снегу подушку.

Наволочка ее была из голубого ситца, на светлом фоне которого цвели маленькие розовые цветочки. На них сейчас падал снег, и постепенно угасал робкий свет, которым светилась на снегу подушка. Очередь совсем разволновалась, обсуждая только что происшедшее событие.

Глава вторая

Утром, разомлевший от сытости и тепла, я валялся на своем диванчике и учил наизусть «Бородино» Лермонтова.

В комнате вкусно пахло оладьями, в солнечном свете слоями плавал по комнате голубоватый и вкусный дымок; и во всей квартире было сытно, и весело смеялись дети, и взрослые уже не так сердито покрикивали

на них, и во всем доме так было, и во всем поселке, в бараках, временках, подвалах...

И казалось, гул завода, куда ушли утром взрослые, был увереннее и мощнее. Да и весь наш поселок авиационного завода, раскинувшийся на левом берегу реки Воронежа, густо засыпанный ночным снегопадом, с пышно взбитыми, уютными и нехолодными сугробами, с прямо стоящими короткими дымами над печными трубами, с мощными тополями, осинами и березами, уцелевшими в огне бомбежек и артиллерийских налетов, а сейчас, подобно новогодним елкам, красующимися в серебре густой изморози, — вся эта блестящая под солнцем красота особенно радовала глаз на сытый желудок. И забылось на время, что под этим блеском и снегом были скрыты раны и язвы войны.

Я смотрю в окно нашей комнатухи и вижу стоящий напротив, через улицу, полуразбитый и обгоревший четырехэтажный дом. Он тоже красив сейчас посвоему: огромные сосульки сверкают, свисая с карнизов, наплывы и наросты льда на обугленных стенах переливаются на солнце, как алмазы; и даже рваность и изломанность кирпичных линий, по которым рушился и ломался дом под ударами бомб и снарядов, казалась странно гармоничной и естественной.

Портила эту мертвую красоту только железная круглая труба. Согнутая прямоугольным коленом, она торчала в угловом крайнем окне первого этажа, наполовину застекленном, наполовину заделанном фанерой. Там, в этой уцелевшей квартире, жили люди. Там жил мальчишка по кличке Цыган — такой он был: смуглый, черноволосый и весело-беззастенчивый. Ему было целых пятнадцать лет. Он, в сущности, не учился, в школе появлялся редко, а все больше занимался вместе с матерью Воронихой, которая тоже нигде не работала, самым разным промыслом. У них была большая деревянная тележка на резиновых колесах, и почти каж-

дый день, надев на себя всю свою одежонку, они, толкая тележку, громко и весело разговаривая, уходили по нашей улице в поход по развалинам, пепелищам и трущобам города. Главной добычей был металлолом, который они сдавали на пункте Вторчермета, но они не пропускали ничего: тряпье, осколки всякой посуды, обломки мебели, разорванные полуобгоревшие книги. Как-то вечером Цыган, зная, что я люблю читать, пришел ко мне. Мать моя встретила его холодно:

— Чего тебе?..

— Да вот книжку Витюхе приволок! — Цыган улыбался во весь рот, показывая красивые белые зубы и не замечая мамину неприязнь. — Думаю, дай снесу Витюхе, а то мамка все равно пропьет с кем-нибудь...

Одет Цыган был в общем-то тепло, но настолько все на нем было разнообразно и пестро, настолько все было не по размеру и с чужого плеча: вывороченная прекрасным мехом наружу женская душегрейка, сползающий на нос, вытертый до дыр каракулевый «пирожок» на голове и огромные, с длинными голенищами «в гармошку» цыганские сапоги, что мама не выдержала и улыбнулась:

— Вот люди, а?.. Живут как птички на ветке...

Цыган моментально отреагировал:

Позвольте вам представиться,
Тетя Кать, красавица!
Я Цыган, Лешка — молодец,
Лам-ца-дри-ца-а-ца-ца...

И рванул чечеточку, шлепая об пол огромными подошвами сапог.

— Да ну тебя! Вот ведь дьяволенок!.. — отмахнулась от него уже незлобиво мама. — Разговаривай вон с Витькой.

Я посмотрел книгу. Какой-то Ганди. Называется «Моя жизнь».

— Что-то не знаю такого! — сказал я. — Ерунда какая-нибудь!

— Да ты не сомневайся. Книга — ого! Мамкин любовник сказал, что здесь про индийскую революцию написано и про бога в душе...

— Про бога?! Ну и пусть тот любовник ее и читает, а я в бога не верю...

— Да подожди ты... глупой... — Цыган взял у меня книгу, полистал, нашел нужную страницу: — ...Вот... любовник мамкин подчеркнул, читай — (эта книга сохранилась в моей библиотеке до сих пор, и я нашел страницу, где остался след карандаша, которым любовник Воронихи подчеркивал слова Ганди): — «Но для меня истина является главенствующим принципом, заключающим в себе множество других принципов. Эта истина есть правдивость не только в слове, но и в мысли, и она является нам не только в слове, но и в мысли, не только относительной истиной, существующей в нашем сознании, — с трудом, запинаясь, почти по слогам, читал Цыган, важно подняв кверху указательный палец, — но и абсолютной истиной, вечным принципом, то есть божеством».

Цыган замолчал, глядя на меня, но в глазах его прыгали чертики.

— Ну?! Как?!

— Что как?

— Понял?

Я растерялся, чувствуя издевку в смеющихся глазах Цыгана и в его грязном пальце, поднятом вверх.

Но собрался с духом и сказал напряженно:

— Чего же не понять?! Понял! Врать не надо. Вот чего. Только бог здесь ни при чем.

Цыган чуть не подпрыгнул.

— Ну ты молодец, Витюха!.. Надо же, а? Ведь моя мамка тоже своему... так точно и сказала. А потом разозлилась из-за чего-то на него, разоралась: «Иди вон,

говорит, баптист проклятый!» И выгнала его среди ночи.

— Леша, — спросила мама: она гладила белье и слушала наш разговор, — ну чего это твоя мать не работает нигде? На что вы живете?.. Воруете, что ли?!

— Ага! — сказал Цыган. — Ворует! Вот эту душегреечку — хороша, а?! — Цыган кокетливо крутанул-ся перед мамой. — Вот эту душегреечку я слямзил знаешь где?.. Театр драматический на площади Никитина знаете?.. Рядом дом... ужас как разбитый и погорелый. Бомбочка, видать, его навернула еще та, кило на пятьсот... Идем мы со своей тележкой мимо... Громыхаем железяками... А мамуля моя так и зыркает во все стороны. Остановилась и показывает ручкой прямо в небеса: смотри-ка, сынок! Я смотрю и вижу: на пятом этаже есть два окна... и чем-то они отличаются от других. Те — совсем мертвые, как у черепа глаза, а эти два... застекленные, надо же, а?.. Снегом забитые, обмерзшие все... а со стеклом... Его под морозью и не видно, а сейчас вот солнышко ударило в него — и сверкнуло окошечко...

Ну я и полез. От лестниц одни воспоминания, все висит, болтается... Залез! Как в цирке! Дверь только тронул, а она и посыпалась серой трухой... Горела, видно, да вся не сгорела и дальше огонь не пустила. Представляете, все кругом горело, а здесь тихо.

Ну, думаю, стал ты, Цыган, домушником... Захожу... все на месте! На кухонном столе стоит сковородка, вилка в ней и, ей-богу, зеленый весь, аж перекрутился, кусок колбасы... сало застыло... Все в плесени... Стакан... на дне чайники закостенели... И газета «Коммуна» лежит, вся желтая... 15 июля 1942 года! И очки! Мне аж страшно стало!.. Не в сортир же хозяин спрятался во время бомбежки 15 июля 1942 года и сидит там...

Ну, в общем, страшно! Половичок, галошки стоят в

передней — две пары! Одна побольше, другая поменьше. Зонтик. Двое пальтишек на вешалке — мужское и женское.

Сундучок. Открыл — нафталинчиком пахнет и полно шмотья всякого. В комнате как положено: коечка с панцирной сеточкой, с шарами, с подушечками, абажурчик над столом, а на столе — скатерочка с кистями, комод, шкафчик, часы большие деревянные на стене висят, занавесочки на окнах... Да, часы показывают одиннадцать часов десять минут... И два портретика висят над койкой... Он и она. Пожилые люди... Интеллигентные, приятные. Смотрят так на меня... как на наследника. Я с ними познакомился, извинился: чего, говорю, добру пропадать? Крикнул мать, она вкатила тележку в подъезд, и зачал я все добро это брошенное в узлы вязать да вниз кидать. Нам теперь надолго хватит на «толпу» с этими шмотками ходить. Да и сами приоделись.

Цыган снова отшлепал чечеточку и грациозно раскланялся. Мама смеялась.

А погиб Цыган вместе с матерью ужасно и нелепо. Совсем скоро после того, как был у нас в гостях.

Перед их домом тяжелая бомба вырыла огромную глубокую воронку. В ней всегда вода до краев. Прошлой осенью это было. Первые морозы ударили. Воронку льдом затянуло. Цыган с матерью после очередной вылазки в город подкатали к дому тележку, тяжело нагруженную всяким железом и хламом. Поленились объехать воронку, понадеялись на лед, вкатили на нее тележку, сами на лед взошли. Лед разом лопнул, а тележка и вся гора железа, что они насобирали, и накрыли их. И крикнуть не успели.

Сейчас эту воронку называют Цыгановой ямой. Она по-прежнему залита водой до краев и замерзает поздней осенью. Вот она, между нашим домом и домом, где жил Цыган. Сейчас она засыпана пушистым сугробом

снега, искрящимся под солнцем. Красивый такой сугроб...

Я иду от окна нашей комнатухи к столу, на котором, укрытая чистой тряпичей, стоит целая миска оладьев, пышных и теплых. Протягиваю руку, беру, ем.

— «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя; богатыри — не вы, плохая им досталась доля...» — ору я нараспев, на всю нашу квартиру. И слышу через дощатую зеленую перегородку, как стонет и кряхтит старик Захаров, а бабка его уговаривает:

— Савося, скушай оладушек, я его и сахарком посыпала... Целый стаканчик на толпе сменяла на варешки... Скушай, милый, тебе есть надо...

— Не лезет же, Даша... Мутит... Убери! Ты лучше мне супчику какого-нито...

— Да что же это с тобой деется?! — всхлипывает старуха. — Оголодал ведь, а ничего не трескаешь... Ты чего? Аль помирать собрался-а-а?! — пригласила было старуха, но тут же замолчала. Старик ей ничего не отвечал. Лишь койка заскрипела под ним.

— Встану я! — тихо сказал он. — Дай-ка мой тулуп да валенки. Очки дай и газету. Пойду во двор... Посижу, погреюсь...

— Вот, вот! — обрадованно заторопилась старуха. — Право, хорошо надумал, а то все лежишь да лежишь... Пойди, милый, там ведь благодать божья! Подыши, аппетит нагуляй...

Старик кряхтя, одевается и уходит. Старуха, проводив его, тихо плачет и возится по хозяйству.

Так и живут они. Севастьяна Егоровича Захарова точит какая-то болезнь уже несколько лет. Высох весь. Огромный, костлявый, на нем одежда вся болтается...

Прямо над койкой стариков висит большая, тщательно заделанная в резную, крашенную темным лаком рамку фотография. На ней красивый, чернобровый,

усатый буденновец в длинной шинели до пят, при шашке на боку. Лицо злое. Буденновец одной рукой держит под уздцы лошадь, а другой обнимает полненькую круглолицую женщину в полушубке, из-под которого торчит юбка и сапожки. Голова у нее не покрыта, пышные волосы рассыпались по плечам, она счастливо улыбается, и ямочки видны на ее щеках. Когда я впервые увидел эту фотографию, бабу Дашу я сразу узнал — такая же круглолицая, еще толще стала, а в буденновца ткнул пальцем и спросил:

— Кто это?..

— Да то же Савося, дед мой! — сказала бабу.

А Севастьян Егорыч грустно улыбнулся и сказал:

— Да, брат! Это я был! Шашкой махал знаешь как?! Р-раз — и голова в кустах!.. Белого офицера голова! Вот как, брат!

Его огромные желтые руки вяло лежали на одеяле, но когда он говорил про белого офицера, узловатые, кривые пальцы зашевелились, как щупальца у осьминога.

— Мне бы сейчас на коня! К Доватору бы! Я бы немца поклат бы!..

Лицо его хмурилось.

— Ну, не лютуй ты, Савося, — ласково запела бабу Даша, присев на койку в ногах у больного мужа. И пристально посмотрела, вывернув голову, на фотографию. — Ох, и лют был в сече! — сказала она мне с гордостью и страхом. — Весь в крови из боя прискакивал. Местью исходил, да никак изойти не мог. А знаешь, почему лютовал?! Говорить ай нет? — спросила она Севастьяна Егорыча.

Тот молчал, прикрыв глаза.

И, поглаживая мужа по ногам, неподвижно и длинно вытянувшимся под серым суконным одеялом, бабу Даша начала рассказывать. Делала она это, по всему,

не в первый раз, делала с каким-то душевным вдохновением и забвением, с прояснившимся и помолодевшим лицом, как будто сказку говорила.

— Их, и давно это было, в другой раз раздумаешься — совсем вчера, руку только протяни. Про меня-то чего рассказывать? Крестьянка я сроду, мужичка была.. Усманская. Все ясно. Девкой любила одного... рыжего. А он спяну избил меня. По-мужичьи бил. Ногой в живот. Так я потом рожать не могла... Да-а-а. И замуж никто не берет. Бесплодная. Лошадь ломозая, и только. Батрачила все время. Обижал меня всяк, кто хотел. Жила! До сорока почти лет жила, словно спала. А тут — революция! Гражданская! Налетели белые, налетели красные!

И вот он — Савося! Мужчина страшный. Весь в ярости, в огне, конь у него ходуном ходит. Сено жрет возами. Савося борщи уминает чугунками — не успеваю готовить: он у меня в избе поселился. Во сне зубами скрипит и плачет. Спросила как-то его, об чем, мол, тоскуешь, дядя?! А тебе, говорит, интересно?! Интересно! Любой человек, говорю, книга, а ты вон какой, весь жизнью исписанный. И немолодой уже, хотя и бравый, поди, под пятьдесят. В общем, сели мы, как положено у серьезных людей, рядом да ладком, выпили по малости и поговорили по душам.

И узнаю я от Савоси страшную историю, как белые офицеры их станицу на Кубани жгли за помощь красным, а семьи красных бойцов порубили.

Савося был отец семейства, хотя и бедняк, но семья у него, жена, сынок и дочка и бабка старая. Всех в один миг не стало...

Сговорились мы с ним тогда, бросила я все, села на коня в чем была, обняла Савосю за его могучие плечи и поскакала вместе с ним и с красными буденновцами... Брали мы и Ростов, и Перекоп, и Крым, и на Варшаву ходили...

Савося рубал господ офицеров, а я кормила и обстирывала красных бойцов...

Севастьян Егорович лежал молча, слушал, закрыв глаза, рассказ бабки Даши, и еле заметная улыбка смягчала его суровое лицо. Бабка Дарья перестала говорить, старик открыл глаза и сказал:

— Ты из меня убивца не изображай, Даша! Ты чего не все сказала?

— Ну да, ну да... — улыбнулась старуха. — Он ведь в бою убивал только офицеров, в плен не брал. Из-за этого и чинов не имеет никаких...

Вот такой героический старик жил за зеленой дощатой перегородкой, которой была разделена на две половины бывшая спальная комната Сергея Ивановича. Старик почти все время лежал на койке. В их комнатухе были еще сундучок и стол да две табуретки.

И, конечно же, на стене, под фотографией буденновца, висела его шашка. Рукоятка была сделана из желтого металла, ножны — тяжелые, как литые, темные, с насечкой; между рукояткой и ножами тускло поблескивало лезвие. И хотя я, пролетарий по происхождению, хорошо понимал необходимость классовой борьбы и восхищался ее романтикой, но шашка Севастьяна Егоровича внушала мне страх, и я никогда не прикасался к ней, потому что каждый раз, когда видел ее, почему-то представлял себе не лихого буденновца на коне с занесенной наотмашь шашкой, а белого офицера, поднявшего вверх руки.

И если бабка Даша уходила надолго в какую-нибудь очередь или на «толпу», я по ее просьбе присматривал за Севастьяном Егоровичем и кормил его. Мы с ним хорошо разговаривали о книгах и о фильмах про войну, которые старик никогда не пропускал, и тащился в клуб, как бы плохо себя ни чувствовал. Мы с ним дружно жили...

...Я еще раз запускаю руку под чистую тряпицу, прикрывающую горку оладий, и снова жую, наслаждаясь вкусом этой прекрасной еды, неограниченной возможностью есть сколько влезет, и продолжаю орать: «...Смешались в кучу кони, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой».

Дверь потихоньку открывается, сначала показывается тонкая детская ручонка с надкусанным блином, зажатым в пальчиках, потом появляется четырехлетний Вовка Сундеев. Помочь его коротких штанишек оборвалась и волочится по полу, путаясь меж худеньких босых ножек; рубашонка, вся перемазанная, болтается; редкие светлые волосики на головке топорщатся, а личико грязное и счастливое.

— Здолово! — безмятежно улыбаясь, говорит Вовка и торжествующе показывает блин: — Во! Хоцис откусить?

— А у меня — во! — показываю я на горку оладий на столе.

Вовка молчит, глядя на мое богатство, потом говорит:

— Давай меняться!

— Давай! — говорю я.

Вовка дает мне свой блин, я ему — пару оладий. Мы жуем, оценивая разницу между блинами и оладьями.

— А Саске блин с повидлой бабуля дала. Он захвалан... темпелатула стласть какая... — говорит Вовка. Сашка — его старший брат. Ему десять лет. — В очеледи с бабкой стоял и плостыл... хвалает вот... Влацixa была... Укол в задницу ему вколола... А Саска не кличал... Он клепкий музык, — рассказывает Вовка, уминая оладьи.

Мать Вовки и Сашки, Клавдия Васильевна Сундеева, библиотекарьша в заводской библиотеке. Пишет стихи. Один раз ее стихотворение даже напечатала об-

ластная газета «Коммуна». Я запомнил несколько строчек:

Вперед, родимые солдаты,
Победой будем мы богаты,
Победой сыты и обуты.
Вперед на вражеские редуты.

Потом в клубе имени Полины Осипенко перед началом киноборника смущенную Клавдию Васильевну директор клуба за руку вытащил на сцену и взволнованно говорил о Клавдии Васильевне, о газете «Коммуна», о талантливости советского народа и о скорой победе над гитлеровскими полчищами. Клавдия Васильевна, опустив глаза и вытянув руки по швам, как школьница, читала свои стихи. И ее напряженно слушали, а потом долго и дружно хлопали.

В первом ряду, закутанный в одеяло поверх шапки и пальто, на коленях Сашки крутился Вовка и всем докладывал:

— Это моя мамка!

А спустя некоторое время, после того, как стихотворение Клавдии Васильевны было напечатано в «Коммуне», она, растерянная и взволнованная, пришла к нам и показала маме почтовый денежный перевод на ее имя.

— Кать! — сказала она. — Глянь, что это такое? Сто восемьдесят рублей. Откуда?..

Мама долго изучала бумажку, потом сказала:

— Да это же тебе из газеты деньги прислали. Это же за стих тебе денежки! Сто восемьдесят рубликов. Ну, Клавка, вот это да, деньгу какую зашибла. Магарыч с тебя, Клавка.

Мама обняла Клавдию Васильевну, а та вдруг заплакала.

— Господи! Я-то подумала... Ох, господи! От Александра деньги, я подумала. Может, думаю, Сашеньку

моего и не убили вовсе, а он ранен был или в плену и объявился вот и деньги прислал... Вот что я нагадала, Катенька-а-а!..

Долго еще, сама совсем расстроившись и чуть не плача, мама успокаивала Клавдию Васильевну, а потом они вдвоем, одевшись, сбегали на почту и в магазин, купили вина, консервов, детям набрали сладких петушков на палочке, собрали стол, созвали всех жильцов нашей квартиры и обмыли поэтическую славу Клавдии Васильевны. Был декабрь сорок четвертого года. Репродуктор сообщал о тяжелых боях наших войск в Карпатах, стояла ледяная ночь за окном, я с детьми Сундеевыми дремал на диване, а за столом, под тусклым светом лампочки, прикрытой картонным абажуром, тесно сгрудившись, сидели мама, Клавдия Васильевна и старики Захаровы.

Не было за этим столом сестер Кирьяковых — в ночную смену работали. Они жили вместе со своей бабушкой в крохотной кухоньке, и как они там втроем умещались?.. Умещались. Бабушкина узкая железная кровать стояла подле батареи, и на ней пластом, сколько я помню, накрытая пуховой шалью, лежала старуха с темными печальными глазами. Во время бомбежки в 1942 году, когда все кругом пылало, рушилось и ревело, бабушка Таня не выдержала, выбралась из убежища и побежала спасать своего упрямого деда Степана, который, как всегда, никуда не хотел уходить и прятаться, а, открыв окно, ругал фашистских захватчиков последними словами и грозил им, с высоких обрывов правого берега расстреливавшим артиллерийским огнем наш новенький соцгородок авиационного завода и завода СК-2, — грозил им суковатой палкой. Бежала бабушка Таня к своему дому, к своему глупому деду сквозь огонь, рев и железный вихрь бомбежки, прибежала, а вместо дома — до войны чистенького, беленького,

трехэтажного, с двумя подъездами, с балкончиками, утопавшего в зелени могучих тополей, — вместо этого — груда красных кирпичей, над ней — туча пепла и черного дыма. И там, под этой черной шевелящейся от внутреннего жара и гудящей от ветра горой кирпичей, — дед Степан. Упала бабушка Таня, и у нее от горя отнялись ноги. Так и лежит теперь. Ухаживают за ней ее внучки, сестры Кирьяковы. Они почти ровесницы, родились друг за другом через два года. Обоим под тридцать, очень похожи, обе беленькие, курносые, кургузенькие. Обе работают на авиационном заводе малярами, самолеты красят. Обе потеряли на войне мужей. Недавно умер от сердечного приступа, случившегося прямо на работе, их отец, парторг сборочного цеха. Молодые женщины согнулись от горя, от тяжелой работы, почернели лицом, и телогрейки на них черные, и платки черные. Придут с работы, молча обиходят бабушку, накормят ее, сами поедят, постелят себе прямо на полу, лягут, обнимутся и засыпают...

Глава третья

...Сейчас смерзшаяся гора кирпича, что когда-то была беленьким трехэтажным домом под тополями, эта огромная каменная могила деда Степана Кирьякова, тоже обильно припорошена пушистым снегом. Эта гора возвышается, окруженная тремя черными обгоревшими скелетами тополей, рядом со стадионом.

И вокруг стадиона еще несколько разбитых домов.

И на всей улице Ленинградской, вплоть до Придачи, всего два целых двухэтажных дома, и на нашей улице Героев стратосферы люди живут только в трех домах: наш четырнадцатый дом, рядом — десятый и напротив — директорский. Эти дома с отоплением, с водой, со светом. И здесь сейчас живут самые счастливые лю-

ди. И мы с мамой среди них. А вчера вот еще и хлебом и мукой отоварились. И в комнатухе тепло. И стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Бородино» мне очень нравится. И еще целая миска оладьев, пышных и теплых, стоит на столе, укрытая чистой тряпичей. Хочешь — протяни руку, бери и ешь...

— «...Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя, богатыри — не вы, плохая им досталась доля...» — с удовольствием, нараспев, орал я на всю квартиру.

Я вообще любил учить уроки вслух, ходя по комнате, жестикулируя, разыгрывая урок в лицах, по любому предмету, даже по арифметике.

— «...Из пункта «А», — говорил я маме, посадив ее на диван, — вышел поезд со скоростью шестьдесят километров в час», — и изображал табуреткой точку, где должны были встретиться поезда, и, задумавшись, ходил от мамы до комода, изображавшего пункт «В».

Мама увлекалась и усиленно соображала вместе со мной, сдвинув черные густые брови. Но я, конечно же, первый решал задачу и объяснял маме, что к чему, а она уважительно и растроганно смотрела на меня, и гладила мою стриженую голову, и говорила: «Какой ты у меня умный, сыночек. Радость ты моя, весь в папку...»

Учился я хорошо, легко и радостно: я любил учиться, любил отвечать у доски, бойко постукивая мелом, любил читать книги, слушать объяснения учителей.

Во всем этом передо мной открывался большой и умный мир формул и слов, волнующих воображение пространств и прошлых времен. Тот мир так был не похож на этот — мир красных камней, голодный и нервный.

Но более всего мне нравились минуты, когда мама приходила с родительских собраний. Я предполагал, что меня там будут хвалить учителя, что маме это бу-

дет приятно, и, волнуясь, всегда с нетерпением ждал ее возвращения. Услышав ее радостный голос в коридоре, быстренько ложился на диван и, положив учебник на грудь, притворялся усталым и спящим.

Мама, тихо шурша одеждой в углу, раздевалась, потом садилась, не скрипнув табуреткой, подле меня и, счастливо улыбаясь, любовалась своим сыном и говорила шепотом примерно такие слова:

— ...Устал, сыночек, отдохни, милый, поспи...

Умильный вздох. Рука мамы касается моей щеки.

— ...Ну и молодец же ты у меня, всем нос утер... Они думают — безотцовщина!.. Иван Федорович (это старший мастер в мамином цехе) аж зеленый весь от зависти сидел... хи-хи-хи... Учитель так и сказал: очень способный мальчик у вас, Екатерина Акимовна. И еще сказал, что всем родителям надо поучиться у меня, как воспитывать детей в такую суровую годину... Так и сказал...

От полноты чувств мама всхлипывает, сквозь слезы смотрит на меня, тихо целует меня в лоб.

Я деланно постанываю, якобы во сне, хмурю лицо. Мама осторожно вынимает учебник из моих рук.

— ...Спасибо, Витенька, милый мой, одна ты теперь моя надежда...

Потом она, умиротворенная, тихо что-то ела и ложилась спать.

Мать сначала лежала молча на своей довоенной супружеской кровати с металлическими шарами. А потом, уже засыпая, сквозь сон я слышал, как она всхлипывала и осторожно подвывала в холодную, затянутую куском ситца стенку.

Я знал, что сейчас она плакала об отце.

...Я собрался идти в школу, когда в дверь нашу кто-то постучал.

— Есть кто живой дома?

Я подошел к двери, открыл ее настежь.



— Вам кого?..

Я сразу узнал ее. Это была девушка... Ну, та самая, что подушку подложила под пальто.

Мне еще тогда, в очереди, было жалко ее, и сейчас, увидев ее, худенькую, с бледным лицом, на котором хватило места лишь для двух огромных серых глаз, я вспомнил, как ударила ее та тетка, как беспомощно она закрыла лицо руками, и потупился, не зная, что ей сказать.

— Кого же вам?..

Девушка тоже очень робела, словно чего-то боялась, часто оглядывалась в глубь коридора, освещенного одинокой лампочкой.

Она смотрела на меня с надеждой и опасением.

— Сергей Иванович где?

— Сергей Иванович в школе.

— Ах, какая жалость... Когда же он будет?..

— Наверное, после второй смены, часов в восемь, в девять вечера...

— Ах ты, господи, как же быть?!

Девушка сильно нервничала.

— Как тебя зовут, мальчик?

— Витя... Виктор.

— Витя... Послушай, Витя, давай знакомиться. Меня зовут Майя...

Она протянула руку, худенькое запястье с голубыми жилочками вытянулось из обтрепанного рукава пальто, теплая ладонь мягко обхватила мои пальцы и быстро сжала их. Я, смущаясь, смотрел в пол.

— Витя, — торопилась говорить Майя, — геперь мы с тобой знакомы! Ты хороший и добрый мальчик... Ну, посмотри на меня... Ну вот я так и знала...

Она заглядывала мне в глаза, волнуясь, часто оглядываясь на тусклую лампочку в конце коридора.

Я очень смущался, от этого смысл ее слов с трудом доходил до меня, я только чувствовал ее волнение и

решилось, словно она только что что-то надумала и это ее решение связано со мной.

Хлопнула дверь в подъезде, Майя вздрогнула и, замерев, стояла, прислушиваясь.

Кто-то поднимался по лестнице. Майя подошла к окну, отогнула край занавески и из-за нее осторожно посмотрела на улицу.

Потом сказала:

— Витя, иди сюда...

Я подошел к окну.

— Посмотри, только осторожно... Видишь, на трамвайной остановке, у ларька, стоит парень... Вон тот высокий, в полупальто, курит... Видишь?..

Я шепотом сказал:

— Вижу... в бурках, да?

— Да! Ты посмотри на него внимательно, Витя! Вот сейчас он повернется к нам лицом... вот... Запоминай его, Витя!..

Остановка трамвая была напротив окна нашей комнаты, выходящего на улицу. Там было солнечно и морозно. Несколько человек ждали трамвая. Прислонившись к зеленой дощатой стене ларька с большим висячим замком на двери, стоял и курил высокий парень в добротном полупальто, синих галифе, в белых фетровых сапогах с отворотами и кожаными нашлепками.

Вот он повернул лицо в нашу сторону, жмурясь на солнце, небрежно циркнул сквозь зубы слюной...

Мартовское солнце припекало с этой стороны, длинные толстые сосульки висели над головой парня. Он с удовольствием грелся на солнышке, прикрыв глаза. Холодно блестели тонкие рельсы, смыкаясь где-то в конце пустой улицы.

Большая белая собака устало трусила через улицу. Это она повстречалась нам с мамой, когда мы шли ночью в очередь за хлебом. Сейчас я видел, как соба-

ка подбежала к парню, осторожно, виляя хвостом, обнюхала его бурки и присела рядом, доверчиво подняв морду.

Парень, закрыв глаза, подставил лицо солнцу, блаженствуя и не замечая попрошайку.

— Зовут его Кот, — говорила Майя. — Так его зовут... ну... кличка его такая в... банде...

Я удивленно посмотрел на Майю. Она криво улыбнулась.

— Да, Витя, это из банды Тэкса...

Я оторопел.

Майя дрожащим голосом продолжала:

— Кот его правая рука. Ты, Витя, на него смотри, запоминай... Я ему сказала, что к подруге больной забегу, а сама к вам шмыгнула. Думала, Сергей Иванович дома... Он бы что-нибудь придумал, как поймать этого Кота. Понимаешь, я сбежала от них. Сначала они меня не трогали, месяца два, сказали только, чтобы молчала. А сегодня утром Кот явился, соскучился, говорит... Везет меня к себе. Отказаться нельзя — убьет! Маме моей еды привез, хлеба, муки, масла... Что я могу сделать с ними?!

— Где их... малина?! — выпалил я. — Я скажу Сергею Ивановичу, мы их накроем!

Майя грустно улыбнулась, тепло посмотрела на меня.

— Ах ты, герой какой... Они похитрее нас с тобой. Меняют они свою хазу... Я заикнулась было спросить у Кота, куда едем, а он как загогочет: приедешь, говорит, тогда узнаешь!.. Витя, ты расскажи все Сергею Ивановичу, ладно?.. И не вздумай сейчас следить за нами. У Кота нюх собачий. Заметит — убьет и не охнет. Они такие, и мальчишку не пожалеют. Я пошла, Витя! Прошу тебя, сиди и не высовывайся, пока мы не уедем. Запомни только Кота, это может пригодиться, он часто в поселке бывает, потому что нездешний.

Майя поправила платок на голове и ушла.

Из-за занавески я видел, как она быстро шла через улицу к зеленому ларьку, встала рядом с парнем. Он спросил ее о чем-то. Майя кивнула головой. Большая белая собака сначала отбежала в сторону, постояла немного поодаль, потом подошла к Майе, присела подле нее. Майя протянула руку, погладила собаку, та благодарно ткнулась мордой в ее колени.

Парень, улыбаясь, смотрел на Майю и на собаку, потом, не меняя позы, резко и сильно ударил собаку под зад тупым, обшитым черной кожей носком фетрового сапога.

Собака, изогнувшись, тяжело отпрыгнула метра на два и, не оглядываясь, подволакивая задние ноги, грузно оседая на них, побежала вдоль узких, блестящих под солнцем рельсов.

Даже из моего окна было видно, как побледнела Майя, от гнева ее глаза стали еще больше, она резко повернулась к парню и что-то сказала ему. Наверняка она сказала ему: негодяй! Или: подлец!

Я почти угадал это слово, слетевшее с ее дергающихся губ; оно, раскаленное ненавистью, врезалось в наглые глаза парня. Но слова для него, очевидно, не имели никакой силы, он улыбался, а когда Майя пошла было решительно прочь от него, он что-то сказал ей в спину, и Майя сначала остановилась, потом, покорно опустив голову, вернулась и встала на свое место рядом с парнем.

— Ух ты, Кот, бандюга проклятый! — заорал я из-за занавески.

Я кинулся одеваться: я выслежу этого гада, я выслежу этого мордоворота, я выслежу его, и мы с Сергеем Ивановичем схватим его, и их главаря Тэкса, и всю банду...

Куда-то провалился правый валенок... Вот он, под койкой... так... быстрее... быстрее... Где ручка? Ну же,

где ручка? Ах, вот она, под тарелку закатилась... Где дневник? Да что же это такое, черт возьми совсем... Трамвай подошел... Вот Майя вошла в трамвай, Кот бросает окуроч, оглядывается по сторонам, прыгает на подножку... Скорей... скорей... Пальто... шапка... варежки... где варежки?

Я выскакиваю из подъезда, уже понимая, что трамвай не догоню. Он, гремя и сильно раскатившись, катит мимо меня, и я вижу тонкий профиль Майи, размытый морозными узорами на стекле. Я бегу изо всех сил за трамваем, а он, в облаке снежной искрящейся пыли, уходит все дальше и дальше и исчезает среди красных развалин.

Глава четвертая

В полдень я шел в школу. Солнца стало как будто больше, и свет его заливал голубое небо, и казалось, что этот свет излучается отовсюду — и от бездонного неба, и от белого снега, — и было больно глазам.

Ветер, резкий и холодный, тоненько посвистывал, гуляя в красных развалинах; наполненный солнечным светом, ветер был удивительно свеж и чем-то неуловимо пах, так пахнет чистое белье, внесенное в дом матерью с мороза. Я торопливо шел, помахивая портфельчиком, и возбужденно бормотал: «...Забил снаряд я в пушку туго и думал: угощу я друга, постой-ка, брат мусью... постой-ка, брат мусью...»

Теперь, конечно, мусью я представлял себе в облике Кота, рыжего и наглого, похожего на кое-кого из пленных немцев, что работали на нашей улице, восстанавливая дом с башней.

Когда пленных немцев привели в первый раз на эту стройку, все, кто был свободен, дети и взрослые, сбегались смотреть на фрицев. Они работали споро и даже весело, словно освободившись от какой-то тяже-

сти, громко переговариваясь на своем резком языке.

Они покорно и охотно подчинялись командам наших солдат-охранников.

Мы все молча смотрели на них, нам было странно видеть их без автоматов и касок, без них они были обычными людьми, сильно мерзнувшими на нашем морозе.

Один пожилой дядя, внимательно и серьезно глядя на пленных, все время повторял:

— Надо же, а?.. Арийцы... мозгляки... Надо же, а?

Неподалеку стоял в группе мальчишек Ванька Сизарь. Он только осенью прошлого года узнал, что отец его погиб. Когда приходили похоронки на чужих отцов, Сизарь всегда почему-то появлялся там, где царил горе и рыдала женщина, и, маленький, весь в рыжих конопушках, сняв шапчонку с головы, внимательно смотрел и слушал горький обряд оплакивания отца и кормильца. На поминках тихо жевал то, что было на скудном столе, и серьезно разговаривал со взрослыми:

— А мой папка еще жив. Пишет, терпи, сынок, ты, говорит, сыночек, счастливый, у тебя две макушки... Вот они, правда ведь две?.. Должен выжить батя...

Отец его все-таки погиб, не помогли Сизарю его две макушки. От горя и болезни сердца скоро умерла и его мать. Сизарь теперь жил у дядьки, запойного инвалида-столяра, у которого своих было двое...

Смотрел, смотрел на фрицев Сизарь, потом взял с земли обломок кирпича и запустил его в ближайшего немца.

Это был уже пожилой немец, он, что-то насвистывая, ловко орудовал мастерком, аккуратно выводил простенок. Кирпич угодил ему прямо в голову. Хорошо, что на голове у немца была зеленая пилотка с опущенными на уши отворотами.

Немец охнул, схватился за голову, выронив масте-

рок, и, навалившись спиной на стену, стал медленно оседать на корточки.

Немцы, все, кто работал на стройке, притихли и испуганно смотрели на нас.

— Получил?.. Не нравится, Ганс проклятый? — кричал Сизарь, судорожно ища другой камень. — Получай еще, вшивый фриц, за батю моего...

Сизаря схватил в охапку набежавший солдат-охранник, а Ванька кричал и бился в истерике в объятиях солдата. Тот крепче прижимал его к себе, гладил по голове, а когда Сизарь успокоился немного, дал ему ломоть хлеба и кусочек сахара.

Сизарь, всхлипывая, сунул хлеб и сахар за пазуху, запахнулся огромной телогрейкой и, согнувшись, побрел прочь.

— Давай-ка, безотцовщина, расходись, а то за самосуд знаете что бывает?.. — сказал солдат, грустно глядя на нас. — Эх, мне бы на фронте с вами повстречаться! — повернувшись к немцам, крикнул он зло. — Я бы вам свою Курскую дугу устроил! А ну, работать, чего встали... пацана испугались, вояки. Что там... с этим? — спросил он у другого охранника, хлопчущего около ушибленного фрица.

— Да ничего страшного... шишка на затылке вспухла... крови нет.

— Ну и пусть радуется...

Потом мы привыкли к немцам и даже вступили с ними в деловые отношения. Они заключались в том, что мы выменивали у них на рыбные консервы ремни с пряжками и зажигалки.

Немцы были покорны и учтивы. «Рус малшик карашо, — говорили они, торопливо хватая банку консервов. — Гитлер капут, унд вир фарен нах фатерлянд...»

Сегодня я торопился в школу, поэтому шел мимо стройки дома с башней быстро, не задерживаясь.

Курт увидел меня с третьего этажа. Это у него я выменял зажигалку и ремень с бляхой. Тогда мы и познакомились у пролома в заборе, ограждающем стройку. Пролом был заделан колючей проволокой, но она не мешала тайным операциям обмена. Пять банок трески в томатном соусе, тщательно завернутых в газетку и обвязанных бечевкой, я, тяжело вздохнув, отдал Курту. Заполучив ремень и зажигалку, я спросил у Курта, не смог бы он мне достать тесак.

Дело в том, что в Шиловском лесу, на Чижевке, в СХИ — там, где шли бои и был фронт, мальчишки находили немецкие армейские ножи в ножнах.

Я тоже участвовал в этих походах по местам боев, но тесак найти мне не посчастливилось. Курт сказал, что у них все оружие, и холодное в том числе, отобрали, и поинтересовался, зачем мне такой нож.

— Как зачем? — растерялся я. — У всех есть, а у меня нет?!

— Какой причин у всех есть? — не унимался худой небритый Курт, грустно глядя на меня арийскими голубыми глазами. — Вы имеет враг, да? Хотит его резать?..

— Ты что?! Что мы, фашисты, что ли?!

— Фашист... фашист... — еще более загрустил Курт. — Зачем же ты, нихт фашист, желает имеет нож?!

— Ну, одену на пояс... буду носить... Может, посражаемся с пацанами... Хлеб буду резать, консервы открывать... Сгодится в хозяйстве.

Когда я объяснил Курту, что такое хозяйство, немец успокоился.

Сейчас Курт махал мне с третьего этажа мастерком.

— Как отмечался на школе? — кричал он простуженным голосом.

— Гут. Фюнф унд фир, — изображал я ему на пальцах свои школьные успехи.

— Караше, моледец!.. — кричал Курт.

Курт не знал, что его зажигалку я продал. Вот как было дело. Недавно на большой переменке Ванька Сизарь затащил меня под лестницу, рядом со школьной кладовой. Там он прежде всего похвастался пачкой папирос.

— «Беломор»... «Ява»... классные папиросы. Закуришь?

— Да ну тебя. Чего надо-то?..

— Эх ты, сопля...

— Где же ты достал такие папиросы?

— Дали хорошие люди за труды. Работать надо, шкет!..

Сизарь затаился до слез в рыжих глазах, выпустил струю дыма через нос. Потом деловито сказал:

— Слушай, Витька, продай мне свою зажигалку.

— Что?! — удивился я. — Почему ты знаешь, что она есть у меня?

— Разведка донесла, — засмеялся Сизарь. — Продавай, а то хуже будет.

— Видал я таких, через себя кидал! — разозлился я. — Ничего ты от меня не получишь, Сизый, понял?..

Я пошел в класс. Сизарь крикнул мне вслед:

— И за пятьдесят рублей не продашь, да?.. Пять червонцев, слышишь?..

Ну, совсем заврался Сизарь. Откуда у него такие деньги? Прямо смешно. Пятьдесят рублей! Такие деньги!.. За них можно всего «Великого Моурави» купить.

Я совсем разволновался.

На следующий день я сам затащил Сизаря под лестницу и долго пытал его, не врет ли он насчет денег. Сизарь клялся: «Век свободы не видать!» — и, отто-

пырив большой палец, грязным ногтем лихо щелкал об верхние зубы, а потом решительно чиркал им по горлу. Это был такой блатной клятвенный жест.

— Где ты взял деньги? Украл?..

— Что я, жулик, что ли?..

— Да нет у тебя денег, врешь ты все.

— Нет? Да? Нет?.. На, смотри!

Сизарь полез за пазуху, долго рылся там, потом извлек что-то, завернутое в тряпку. Развернул.

— На, видишь, сколько денег?! Тут на пять зажигалок хватит.

Такого количества денег я еще не видел. Десятки одна к одной лежали на ладони Сизаря. Видя мое смятение, Сизарь решительно затиснул меня в угол и взволнованно зашептал:

— Побожись, что молчать будешь! Трепанешь — нам обоим худо будет!..

— Век свободы не видать! — чиркнул я ногтем большого пальца по горлу, поняв, что Сизарь говорит о серьезных вещах.

И Сизарь рассказал мне, как к ним домой пришел месяца два назад какой-то парень. В гости к дядьке. Бутылку водки принес. Дядька выдул бутылку и тут же свалился. А парень дал Сизарю деньги и велел скупить у пацанов тесаки и зажигалки.

— Комиссионные дал вперед и еще обещал дать по пятерке с тесака и по тройку с зажигалки... Понял, деньжищи какие можно заработать?! А что?! Ухи с голодухи опухают! Папирос дал в задаток и десятку... Продавай, Витек, зажигалку, слышишь?! Зачем она тебе? А на десятку вместе гульнем, а?..

Я сказал, что подумаю. Думал я недолго, потому что мне очень хотелось иметь «Великого Моурави». Все тома. А за полсотни их можно было купить на толкучке, в городе.

И вот я шел в школу, а в портфеле моем лежала чу-

десная зажигалка. Небольшая, выточенная из какого-то прочного слоистого материала, то ли стекла, то ли плексигласа: изумрудно-прозрачная, с желтеньким кругляшком-запальником, с металлической блестящей крышечкой. Мне было жаль расставаться с нею и в то же время очень соблазняла возможность стать обладателем темно-коричневых томиков «Великого Моурави», читать и перечитывать эти замечательные книжки, когда захочу, а не ждать очереди в библиотеке.

Пусть пользуется зажигалкой тот парень, я ведь все равно не курю...

И тут что-то будто щелкнуло в моей голове, и я даже остановился, разволновавшись: постой-ка, брат мусью... Постой-ка, брат мусью... Постой-ка... Этот парень, который скупает тесаки и зажигалки через Сизаря, уж не Кот ли он?! Кому же еще может понадобиться столько ножей, как не банде, у кого столько денег?! Ну, Сизарь, влип ты здорово!

Я помчался в школу. На орущем, визжащем, играющем в пристенку, кучу-малу, чехарду, жошку, ножички школьном дворе я разыскал Сизаря, затащил его в уборную, и мы заперлись там.

— Ну, Сизый, — чуть дыша, зашептал я, — попался ты! Говори, какой из себя был тот парень, что деньги тебе дал.

— Ты что?! — заверещал Сизарь. — Я еще жить хочу!

Я зажал ему рот.

— Он рыжий? Курносый? Да? На бульдога похож, да? В белых бурках, пальто короткое, с меховым воротником, да?..

Сизарь хотел вырваться, но я держал его крепко, вывернув руку.

— Брось, больно! — захныкал Сизарь.

— Скажешь?!

— Да, это тот парень был! Ты-то почему знаешь?

— Да ты соображаешь, гад рыжий, кому ты помогать взялся? Это же банда!!!

— А почему мне знать?! Дали деньги, велели купить, молчать велели, грозили... Я-то что?! Ну, Витька, — Сизарь плакал, размазывая слезы по чумазым щекам, — смотри теперь. Выдашь — сам угроблюсь и тебя угроблю!.. Вить, ты никому не говори... Я только тесаки и зажигалки закуплю, и все... Страсть заработать хочется. — Сизарь жалобно хлопал длинными ресницами.

— Ванька, ты что! Это же такие же фашисты!.. Сколько людей погубили. Грабят, деньги отбирают. Ты что, Ванька? — Я почти кричал ему в ухо. — Мы же пионеры, Ванька, скоро в комсомол принимать будут, как же, Ванька, а? Молчать будем?! Слышал, позавчера у Вогрэса онять убитого нашли. Шел с работы. Зарплату нес. Убили. А у него дети... А мы молчать будем?! На фронте воюют, скоро будет победа, а мы молчать будем, да?!

Гнев, боль и тоска охватили меня. Тупая и страшная морда Кота стояла перед глазами, и испуганные и ненавидящие глаза Майки, и черные, молчаливые очереди за хлебом, и похоронки с фронта, и черный диск радио с металлическим голосом Левитана, и материнский вой в холодную стену, и частые похороны со страшным звоном медных тарелок и ревом труб, и пустыри, и разорванные бомбами мои сверстники, и развалины домов, и красные камни...

Загремел звонок. Это выкатился на своей тележке во двор школы безногий школьный сторож и столяр дядя Кузьма, размахивая колокольным.

Сергей Иванович, прямой и решительный, в ладной шинели, взмахивая рукой, шел по двору под ярким мартовским солнцем.

— Шестой «А», на занятия по военному делу становись!

Глаза его весело шурились. Казалось, ликующий марш играл невидимый духовой оркестр за его спиной.

Он подозвал меня:

— Надо поговорить, понял?!

— Понял... — растерялся я.

— В общем, важное дело. Секретное заседание оперативного штаба по захвату противника, понял?..

— Да-а-а?!

— Чтобы никто не знал! И возьми с собой Сизаря, он нужен, только не говори ему, зачем. А теперь марш в строй! Рота... то есть класс, в две шеренги становись!

«Что это такое нашло на Сергея Ивановича, чего это он такой веселый?» — думал я, глядя из строя на оживленное лицо военрука.

Глава пятая

За окном медленно оседает на землю крупный снег. В классе сумрачно и тихо. Пацанва дремлет. Так бывает всегда на уроках истории. Их ведет угрюмая женщина с неподвижными глазами и тусклым голосом. Учительница истории — загадочный для нашей оравы человек. С другими учителями было просто. Федор Павлович, учитель географии, — худой, нервный, с изможденным лицом, с глубоким шрамом через всю правую щеку, от уха до подбородка. Бывший кавалерист, воевал в коннице генерала Доватора. Под Москвой был тяжело ранен. С тех пор страдает тяжелыми приступами падучей... Они иногда прихватывают его и в школе. Мы видели это и ужасно страдали, пугаясь и жалея нашего Федора Павловича. Наверное, потому и не обижались на него, терпеливо снося его дикие выходки. Он мог, например, объясняя урок, так психануть на расхулиганившегося пацана, что, подскочив к нему, как на боевом коне, яростно вращал вокруг головы длин-

ной тонкой указкой, как саблей, и когда нарушитель дисциплины, защищаясь, поднимал руки, учитель уже готов был великолепным выпадом снизу воткнуть палку в бок между ребрами указку. Мальчишка орал от страха, учитель, опомнившись, обнимал его и просил прощения. И долго еще после подобного «срыва» ставил своей жертве явно завышенные оценки.

Химичка, Настасия Ивановна, мы ее звали Настюхой и редисочницей. Отчаиваясь иной раз утихомирить нас, она хватала классный журнал и лупила им по нашим головам. Мы хохотали, убегали от нее, она, растрепанная, с закушенной губой и красным лицом, носилась по проходам между рядами парт и кричала: «Ах вы, рвань, хулиганье!..» Кончалось это тем, что, умаявшись бегать за нами, она плюхалась на свой учительский стул и начинала смеяться вместе с нами. Она была добрая женщина. Жила на Монастырке, выращивала редиску и часто, по раннему лету, приносила в класс корзину молодой редиски и угощала нас. Мы апетитно хрустели, а она грузно и устало сидела и, подперев рукой голову, грустно смотрела на нас.

Два маленьких седеньких старичка, математик Павел Трофимович и литератор Семен Яковлевич, — это была интеллигенция. Мы их уважали и побаивались. Они понимали нас, знали нашу внешкольную жизнь и пытались делать все, чтобы придать нам человеческий облик. Они, сами всегда одетые в ветхие, но отглаженные костюмчики, с галстучком, выбритые и причесанные, жестоко высмеивали нас за наш расхристанный вид, за космы на голове, за грязь под ногтями, за ужасное произношение, за драки на больших и малых переменах, за наши дикие игры.

Была среди них и такая.

Надо было по пожарной лестнице залезть на крышу школы — а она двухэтажная — и оттуда прыгнуть вниз, в сугроб. И все. Надо только прыгнуть, а это до-

статочно высоко, метров пятнадцать, наверное. Основателем игры был Кука.. Он все что-нибудь выдумывал. Так, однажды он на перемене постоял около большого сугроба, образовавшегося на углу школьного здания, посматривая на крышу, потом решительно полез наверх по пожарной лестнице, появился на самом коньке крыши и требовательно закричал на весь школьный двор:

— Эй вы, сопляки и шкеты!..

Подождал, когда все утихнут и воззрятся на него, не совсем понимая, что еще затеял неугомонный Кука.

Ведь это он первый вырыл ямину между шпалами трамвайного пути, проходящего недалеко от школы, залег туда и лежал, а трамвай, гремя и звеня, промчался над ним... Это видела вся школа. Он первый перелез по решетке, сцепляющей трамвайные вагоны, перелез из второго вагона в первый, на полном ходу, на самом разгоне, когда и решетка и вагоны так сильно и тяжело снуют из стороны в сторону, подпрыгивают и дергаются, что и сидеть-то в вагоне трудно...

Это Кука первым освоил захватывающее дух катание на санках, на ходу зацепленных за последний вагон поезда.

Это он, Кука, первый раз в жизни увидев в парке культуры и отдыха имени Кагановича настоящий трамплин для прыжков с лыжами, взобрался на него вместе со своими самодельными лыжонками и, не раздумывая, ринулся в полет... Страшная сила швырнула Куку вверх и вперед, и он летел, кувыркаясь, роняя лыжи и шапку, по большой дуге, пока не исчез в толще снега. Руку он сломал, полгода гордо ходил в гипсе, но, едва рука поджила, Кука тут же спустился по веревке в глубокий высохший колодец... Куда бы мы ни приходили купаться летом: на речку, на озеро Куток, на любой другой водоем, — Кука бесстрашно прыгал

в воду головой вниз, с любого обрыва, возвышения, приступочка. Я не помню, чтобы Кука когда-нибудь вошел в воду просто так, как входят в нее нормальные люди.

Это безумство храбрых было очень заразительно, и у Куки в любом его отчаянном поступке всегда находились последователи, и жизнь их становилась от этого намного интересней.

...Так Кука прыгнул первый и с крыши школы. Он летел с нее под наши восторженные вопли и был похож на большую черную птицу — это полы его пальто развевались. Он ушел в сугроб с головой и выбрался из снега, гордый и счастливый. И постепенно стали прыгать другие мальчишки, прыгнул, после долгих колебаний и страхов, и я. Почти весь наш класс перепрыгал с крыши, один мальчишка остался и не только не хотел прыгать, но всякий раз, когда ему напоминали об этом, презрительно улыбался и говорил:

— Что я, дурак, что ли?!

Наше общее негодование подогревал и тот факт, что этот трус — Сашка Румянцев — был отличник. Красивый черноволосый парнишка с большими карими глазами, с чистым и смуглым лицом. Аккуратно одетый, хотя и те же одежды были на нем, что и на нас, но заплат и швов не было видно и все было на нем по росту и ладно подогнано.

Надо было видеть, как он улыбался, когда кто-нибудь из мальчишек стоял у доски, как говорится, не мыча и не телясь, а он, этот чистюля, поднимал руку и шел к доске, отодвигая плечом невежду, и громко и четко, торжествующим голосом утверждал свое превосходство. Ребята оглядывались на меня: ведь я тоже был отличник, но отличник свой, понятный и близкий массам, потому что был нечесан и дик, как и они, потому что вместе с ними шел в драку с суворовцами, потому что я, как и все, и по решетке трамвайной ла-

зил, и цеплялся с санками за поезд, и с крыши прыгнул... А этот?! Мы все — дураки, а он?!

Словом, мы отвели Румянцева однажды после уроков за угол, приперли его к стенке и сказали:

— Выбирай: либо мы тебя сейчас сильно побьем, либо ты прыгнешь с крыши.

Румянцев побледнел, но улыбался, подлец, все так же презрительно и сказал:

— Ладно, я потешу ваши душеньки, прыгну, но чтобы вы потом не трогали меня больше, поняли?

— Лезь, лезь на крышу... — дрожа от гнева, сказал Кука. — Посмотрим еще...

— Не, ребя, давай лучше побьем его... — рванулся к Румянцеву кто-то, но его остановили.

Румянцев положил портфель на землю, снял с себя пальто, неуклюже полез вверх по пожарной лестнице. Из толпы понесся ему вслед свист и улюлюканье. На карачках Румянцев полз, бледный, по крыше к ее краю. Мы умирали со смеху, глядя, как этот отличник ползет на брюхе там, где мы шли в полный рост.

Румянцев долго стоял на коньке крыши, в отчаянии оглядывался назад, на то ржавое железное пространство, которое он уже прополз. Вся школа собралась и смотрела на него. Крики и вопли неслись снизу, и они были убийственно оскорбительны.

Румянцев наконец как-то неловко оттолкнулся, суетливо шагнул с крыши и, закричав от страха, полетел вниз, судорожно размахивая руками. Оттого, что он плохо оттолкнулся, он тяжело шлепнулся на край сугроба, где снега было мало, и мы все услышали, как лязгнули у Румянцева челюсти. И, поднявшись с земли, с разбитым лицом и выскочившей челюстью, Румянцев заревел, не закрывая рта, дурным голосом и, пошатываясь, побежал в школу. Было очень смешно. Сопровождаемый толпой гогочущих пацанов, бежал с безумными глазами по школьному коридору мальчишка с

незакрывающимся ртом. Он мычал, разбил себе лоб о дверной косяк, а мы все хохотали и бежали за ним, любопытствуя. Вся эта орда двигалась на стоящего посредине коридора Семена Яковлевича. Румянцев врезался в стену, постоял, качаясь и мыча, повернулся, побежал и налетел на маленького бледного седого учителя. Он подхватил мальчишку, крепко прижал его к себе и срывающимся фальцетом закричал:

— Подите прочь, негодяи!

Столько было гнева и боли в его яростном крике, что толпа остановилась и молча, смущенная ненавистью любимого учителя, стояла на одном месте.

Румянцев захрипел и стал валиться с ног, учитель взял его на руки и понес в учительскую комнату. Туда сбежались учителя, заголосила редисочница. Мальчишку положили на диван, стали отхаживать. Федор Павлович, грозя нам указкой, побежал за врачом.

Главный специалист этой игры Кука сунулся в учительскую.

— Да вы не хлопчите, Семен Яковлевич. Через пять минут отойдет. Это же игра такая...

Семен Яковлевич выскочил из учительской, закрыв за собой дверь. Он был взбешен, топал ногами и брызгал слюной.

— Уйдите сейчас же, выродки! Не то я вас покалечу! В розги вас надо, в розги, сечь, пороть по субботам!..

На свой урок он пришел тихий и сгорбленный, распространяя острый запах валерьянки. В классе стояла гробовая тишина. Кука совсем сполз под парту на своей «камчатке» и замер там.

Семен Яковлевич долго смотрел в окно. Потом повернулся к нам, и мы увидели слезы в его глазах.

— Ну что же вы не смеетесь надо мной?! Смейтесь!.. Такого школа еще никогда не видела! Учитель плачет перед своими учениками. Старый седой человек плачет перед мальчишками... Ах, ребята, ребята!.. Вы меня

заставили пережить такое потрясение, какого я еще никогда не переживал. Я обо всем забыл, я ослеп, оглох от ненависти и злобы к мерзкому стаду обезьян, которым вы предстали передо мной. Такой ненависти я еще не знал.

Но потом я испугался. А педагог ли я?.. Учитель ли я?.. Какое же адское терпение необходимо мне!.. Кто мне его даст?..

Разве могу я забывать даже во гневе о войне, о тех огнях, водах и медных трубах, которые вы, мальчишки, успели пройти... Смерть, голод, отчаяние, злоба — это вы знаете хорошо. Вы плохо знаете, что такое красота! Да, это ужасно! Но она есть, красота, она знаете где?.. Она в вас! Да, да, да!.. Я не стыжусь своих слез, потому что я верю в вас, дети!

Вы очень плохо одеты, полуголодны, нечистоплотны, невежественны, но в вас есть красота, она живет в вас, она еще не задушена жизнью и войной, и я надеюсь увидеть, как взойдут ее ростки в ваших душах, когда настанет время нормальной человеческой жизни...

Мы слушали эту неожиданную речь, состоящую из слов, во многом непонятных, но волнующих. Красота какая-то... в нас?! Мы насторожились.

— Вот ты, Паша Селиверстов... — вдохновенно продолжал учитель.

Пашка Седой, щуплый альбиносик с белыми бровями и ресницами, одетый в штопаную женскую шерстяную кофту, в огромных валенках с галошами, растерялся и встал торопливо, громко стукнув крышкой парты. Это же умора! Пашка — красота?!

— Ты, Паша, можешь стать хорошим математиком, я знаю, мы говорили о тебе с Павлом Трофимовичем. У тебя ярко выраженные математические способности. А это что значит? Это значит, уважаемый Павел... как тебя по батюшке?..

— Ефимович...

— Это значит, уважаемый Павел Ефимович, что в твоей нечесаной голове скрыты удивительные тайны человеческого мозга, тайны самых высоких форм мышления, пусть не обидятся на меня будущие философы и художники, сидящие здесь. Они тоже есть. Как вы думаете, кто из вас может стать художником?

— Мишка Зверев! — хором закричали мы.

— Конечно же, Миша. Да сиди же, — сказал учитель, видя, как тот тоже начинает вставать, с трудом выпрастывая длинные ноги из-за парты, постепенно раскладываясь, как складной ножик, — так он был длинен, худ и сутул. — Впрочем, встань, Миша, и подойди к окну. И вы все, ребята, посмотрите в окно... Теперь скажите, какого цвета снег за окном?

— Белый...

— Серый...

— Пепельно-стальной... грустный такой...

— Вот, видите: пепельный, стальной и грустный. Это увидел Миша, это увидел художник. Вы видите один цвет, а он воспринимает мир в гамме цветов. У него сейчас нет цветных карандашей и красок, нечем ему рисовать. Но они будут, Миша, ты подожди, береги пока свой талант, а лет через пятнадцать ты будешь художником, и я хочу дожить до тех пор, чтобы заказать тебе свой портрет. Берегите свой талант, дети, берегите красоту в себе.

Ты, Ваня Сизарев, будешь хорошим мастером по дереву, я это знаю, я видел, как ты ловко делал рамки для школьных стендов и скворешни, а какую коляску ты смастерил для своего дяди Кузьмы, а?! Безногие всего района завидуют твоему дяде. Впрочем, ты можешь стать и хорошим учителем, я видел, как ты заботаешься о двух своих сестренках, как гуляешь с ними, ты и сказки им рассказываешь, верно?..

Еще долго говорил Семен Яковлевич, и это был урок, запомнившийся навсегда. Когда прозвенел зво-

нок, мы не вскочили и не ринулись на свободу, а сидели на своих местах, задумчивые и умиротворенные, прислушиваясь к тому, что расшевелил в наших сердцах учитель...

...Вот такие были тогда мы и наши учителя. А учительница истории была «никакая», потому что к нам никак не относилась: ее жизнь и наша не соприкасались. Мы видели ее только на уроках истории, а потом она исчезала. Где она жила, мы не знали, хотя жила она где-то здесь, недалеко, появлялась в школе и покидала ее незаметно, как мышь.

Только однажды, в воскресенье, бродя вместе с мамой по «толпе» в поисках зимней шапки подешевле, я прямо натолкнулся на Елену Тихоновну.

Она стояла, закутанная в шаль, и держала в неловко вытянутой руке шапку. Увидела меня, что-то дрогнуло в ее глазах, но лицо осталось неподвижным, она так и стояла, отчужденно и скорбно, словно навсегда сомкнув сухие губы. Мама возбужденно спрашивала ее о цене и, обрадовавшись, что цена подходящая, а шапка совсем хорошая и теплая, примеряла ее на мою макушку, натягивала на уши, крутила меня перед собой так и эдак, щупала подкладку, изучала каждый шовчик и наконец купила. Учительница истории внимательно посчитала деньги и исчезла.

Я сказал маме, кто нам продал шапку.

— Ну и что, — спокойно сказала мама, все еще любясь мной в новой шапке. — Сразу видно, интеллигентная женщина, не спекулянтка какая-нибудь. Взяла по-божески.

А мне было трудно соединить образ замкнутой и гордо-суровой учительницы с этой кричащей, толкающей, месящей грязь тысячью ног толкучкой.

Еще раза два я встречал Елену Тихоновну у школы. Она бросала торопливый взгляд на мою шапку и, нагнув голову, тихо здоровалась со мной...

Глава шестая

Вернемся через годы на урок истории, который вела Елена Тихоновна тогда, в марте сорок пятого года.

Сквозь толщу времени я вглядываюсь в ее лицо... Нет, ничего разглядеть в нем невозможно, оно как пустыня, скрывшая навсегда от постороннего взгляда под толщей серого песка прошлую жизнь. Оно равнодушно к внешнему миру и мертво. Ну, а нам только этого и надо. В классе тихо, сумеречно, и каждый из нас отдыхает по-своему. Кто откровенно спит, уронив голову на парту, кто думает о своем, уставившись на снег, падающий тяжелыми мокрыми хлопьями за окном.

Я сижу на полу у теплого радиатора, за отодвинутой партой, на расстеленном пальто и читаю «Войну и мир» Толстого. Я читаю о том, как Наташа Ростова случайно подсмотрела невинный поцелуй Николая и Сони, потом я вместе со всеми Ростовыми мчусь на тройках, и это не Николай, а я сижу в санях под шубой, и обнимаю Соню, и целую ее в нежную щеку... Нет, это Таня, моя Таня прижалась ко мне, и так тревожно и томительно мне становится, что я закрываю глаза...

Таня с отцом поселились в нашем доме неожиданно и незаметно, кажется, в конце сорок четвертого года. Утром я вышел на улицу, а в подъезде стояла девочка, одетая в ладное пальтишко с круглым, вокруг тоненькой шеи, меховым воротничком; на голове у нее была вязаная шапочка с помпончиком, руки она прятала в серенькую муфту, подвешенную за воротник на черном блестящем шнуре. Девочка приветливо посмотрела на меня.

— Здравствуй!

— Здравствуй! — ответил я просто, не смущаясь.

— Ты в этом доме живешь?

— Да, в этом подъезде, на первом этаже.

— Вот и прекрасно! А мы с папой на третьем. Значит, мы соседи. Давай теперь знакомиться. Меня зовут Таня.

— Витя... Виктор!.. Я знаю. Вы поселились в девятнадцатой квартире. Там комнату давно для кого-то держали... Для вас, значит.

— Мой папа — знаменитый специалист по самолетам. Его очень ценят. Он будет теперь работать на нашем заводе.

Таня доверительно рассказала мне, что приехали они из Ленинграда; во время блокады Ленинграда папа с Таней был эвакуирован на Урал, где строил военные самолеты, а мама была балериной, танцевала в Кировском театре и погибла в одной из первых бомбежек.

— Ты не удивляйся, — говорила Таня, — что я спокойно рассказываю о маме. Я должна быть сильной, чтобы не дать впасть в отчаяние папе.

Когда это случилось в Ленинграде, рассказывала Таня, отец ее был совсем подавлен и в состоянии депрессии хотел покончить с собой, и спасла его Таня своей силой воли. Когда блокада была снята, отец не захотел возвращаться в Ленинград, где все ему напоминало о жене. Они выбрали Воронеж, потому что здесь раньше жила сестра отца, Танина тетка...

Таня стояла передо мной, освещенная красным светом утреннего зимнего солнца, отраженного от голой кирпичной коробки дома напротив. Трогательный помпончик покачивался на ее головке, чуть склоненной набок, когда она, рассказывая о себе, заглядывала доверчиво и просто в мои глаза.

— Я все говорю и говорю, а ты молчишь. Ты в каком классе?

— В шестом «А»...

— А я в седьмом... Ну, это ничего... Мы с тобой будем дружить, верно?

Я смутился. У нас дружба с девчонкой — это позор; дружить с девчонкой — значит обречь себя на издевательства.

Но эта девчонка Таня... Она была из другого мира, загадочного и притягательного. Он, этот мир, смотрел на меня сейчас доверчиво и просто и ждал ответа.

— Ты знаешь, Таня, — сказал я, сильно волнуясь. — Когда фашисты убили моего отца на фронте, я был маленький, во втором классе учился... А как мама убивалась и рвала на себе рубашку — помню как сейчас. Страшно было... Посейчас мама плачет ночью. Уткнется в стенку и воет, аж мурашки по спине бегают. Мне ее очень жалко, я ее люблю, ведь мы с ней совсем одни...

— И мы с папой тоже одни. Мы к тетке ехали в Воронеж, к папиной родной сестре, а она ушла на фронт разведчицей, погибла...

Мы помолчали немного, впитывая в сердце доверие друг к другу и понятную обоим боль, которой только что поделились. Это было щемяще-грустно и хорошо

Я сказал:

— Я буду дружить с тобой, Таня, честно!

— И я честно! Витя, приходи сегодня вечером к нам. Мы как раз устраиваемся. Поможешь нам с папой разобрать книги. А потом будем пить чай...

В этот вечер я был психованный и суматошный. Когда мама прибежала с работы, я нетерпеливо закричал:

— Где моя вельветовая курточка с замками-молниями и белый воротничок?

— У вас в школе вечер какой? — спросила мама, стоя на коленях у сундука и открывая замок.

— Какой вечер?! — Я усиленно натирал ваксой ботинки. — Я в гости иду на третий этаж... Они только вчера приехали... Инженер новый с дочкой... Из Ленинграда приехали...

— Из Ленинграда? — Мама задумалась. — Бедные, поди, наголодались. Ты, Витя, пышек им снеси. Я хороших белых пышек напекла.

— Какие пышки, мама? — саркастически засмеялся я. — Он же инженер, очень ценный, ему вон комнату специально берегли. Ну вот, шнурок порвался, — совсем разволновался я.

— Из Ленинграда ведь они, Витя, из блокады... Там все голодали, и инженера тоже.

— Блокаду давно прорвали, а «Дорога жизни» на что?

— Что ты, маленький, понимаешь? — Мать уже пришивала белый воротничок к курточке.

— Какой маленький, какой маленький... — возмущался я. — Скорей, мама.

— Кто же тебя пригласил, сам инженер или его дочка? Видела, красивенькая девочка...

Мама, пришив воротничок, отступила на два шага и рассматривала меня. Потом вынула из своего узла на голове гребенку, причесала мои волосы, снова отошла немного и смотрела на меня ласково и грустно.

— Вылитый отец, — вздохнула мама. — Витя, будь там у них умницей... На вот платочек носовой, а то будешь носом шмыгать... Не брякни чего-нибудь, без спросу ничего не трогай.

В дверь постучали. В комнату вошел Сергей Иванович. Он кутался в свою шинель, лицо его было усталым и серым.

— Не заболел ли ты, Сережа? — спросила мама.

— Здравствуйте, соседи... — Сергей Иванович тяжело опустился на табуретку. — Знобит что-то меня и спину ломит.

— Уж не грипп ли? — Мама положила руку ему на лоб.

Сергей Иванович прикрыл глаза.

— Может быть, и грипп. Лечиться пришел к вам.

Средство верное, фронтовое, окопное. — Сергей Иванович поставил на стол четвертинку. — Спирт. И к нему аспирин. Еще нужны соль и перец. И хорошо бы чайку горячего, Катя.

— Сейчас, Сереженька, сейчас, только сына провожу.

— Куда это ты, парень, напудрился? — устало смотрел на меня Сергей Иванович, и никак не ладилась его трудная улыбка с тяжелой печалью в глазах. Я нетерпеливо потоптался новыми ботинками под взглядом Сергея Ивановича и сказал, что иду в гости на третий этаж, к инженеру.

Сергей Иванович тоже знал о нем и его дочери, он пожелал мне удачи и сказал, как будто они договорились с мамой: смотри, мол, не опозорься перед интеллигенцией, да еще ленинградской.

Я еще немного задержался, потому что мы все трое решали, удобно ли нести инженеру мамины пышки. Сергей Иванович сказал, что отнести можно, поймут, что подарок от души.

И вот я робко стучу в дверь на третьем этаже, прижимая к груди пышки, завернутые в плотную бумагу. Пышки горячие, я чувствую их тепло и очень волнуюсь.

Дверь открыл высокий седой мужчина. Он был одет в вязаную толстовку, из-под которой была видна морская тельняшка, во рту он держал капитанскую трубку. Вынув трубку из рта, он сказал:

— Здравствуй, Витя! А мы тебя ждем. Проходи, пожалуйста. Давай сразу знакомиться: Казимир Павлович Пеньковский.

— Витя, Виктор...

Казимир Павлович сказал:

— Таня не смогла сама открыть тебе дверь. Пойдем в нашу комнату, Таня там на стремянке. Мы разбираем книги, ты нам поможешь немного, а потом мы будем пить чай.

— Это вам от нас, от мамы и от меня... И от Сергея Ивановича. Мама сама пекла, они вкусные. — Я протянул Казимиру Павловичу пакет с лепешками.

— Что это? — Казимир Павлович развернул пакет, понюхал, закрыв глаза, и громко воскликнул: — Татьяна, ты посмотри, какую прелесть принес нам твой друг, это же домашние пышки! Давно мы с Танюшкой таких не едали! Чай у нас будет чудесный. Вернешься домой, Виктор, обязательно поклонись маме, скажи ей, что я в долгу не останусь, обязательно угощу ее нашими ленинградскими ватрушками.

Мы прошли в комнату. Там на узенькой лестничке под потолком стояла, обернувшись к нам и улыбаясь, Таня. А вся стена, у которой стояла стремянка, была заставлена полками с книгами. Груды книг лежали на письменном столе; на диване, на полу. Таня сказала:

— Витя, ты будешь принимать книги от папы и передавать их мне. Возьми тряпочку, она на столе, будешь протирать каждую книгу.

И мы взялись за работу. Сначала меня сразило количество книг: как в заводской библиотеке, а то и больше! Но потом я был совсем потрясен. Я держал в руках и передавал Тане Александра Дюма, Фенимора Купера, Стивенсона, Конан Дойля, Жюль Верна, Виктора Гюго, Вальтера Скотта, Джека Лондона — литые томики в прекрасных переплетах с золотым тиснением.

Я подавленно молчал, волнующая тяжесть этих удивительных книг, проходящих через мои руки, ввергала меня в состояние лихорадочного возбуждения.

На хозяев этого богатства я смотрел с обожанием и трепетом. Как мне повезло! Я смогу читать эти книги! Господи, «Гиперболоид инженера Гарина», «Старая крепость», «Война миров», «Путешествие Гулливера», «Робинзон Крузо», «Тайна двух океанов», «Великий

Моурави»... За ними, истрепанными и замусоленными, я месяцами держал очередь в библиотеке.

А тут они новенькие, они так волнуют миром морей, подвигов, тайн и приключений, который скрыт под их обложками.

— А наш новый друг — книголюб заядлый! — сидя на полу среди книг на коленях, сказал, улыбаясь, Казимир Павлович. — Вижу по характерному блеску глаз. Что, Татьяна, допустим его в этот край обетованный, а?..

— Ну, конечно, папочка! Я уже сказала Вите, что он может читать у нас сколько угодно.

— Ладно уж, твоему другу сделаю исключение. Я буду давать ему книги. Он их читает, я это вижу.

Я был счастлив среди новых замечательных друзей, среди книг, под ровным светом настольной лампы. За окном было темно, я знал, как там холодно и пусто, как ветер свистит в разбитых коробках домов, и мокрый снег налипает на обугленные стены, и где-то среди ветра, развалин и снега бродит большая белая собака, о которой я вспомнил сейчас, и мне стало жаль ее, одинокую, коченеющую от холода, и я подумал, что мы с Таней найдем эту белую собаку и она будет жить с нами. Подумал и тут же заговорил с Таней об этой собаке, что ее надо найти и пригреть, что она пропасть или околеть с голодухи может, что она красивая будет, если ее отмыть и подкормить немного.

— Начните искать ее завтра же! — сказал Казимир Павлович. — Жить она будет у нас. Мы постелем ей коврик у дверей. Думаю, все вместе мы ее прокормим.

Потом мы пили чай с мамиными пышками. Казимир Павлович расспрашивал меня о нашем житье-бытье. Я рассказал ему, как погиб мой отец на фронте, как мы с мамой стали жить вдвоем, о заводе, о школе, об

очередях за хлебом, о том, как пришел с фронта без руки Сергей Иванович и стал жить с нами, о пленных немцах.

Казимир Павлович заинтересовался Куртом, моим знакомым немцем, сказал, что хотел бы с ним поговорить. Серьезно он слушал меня, когда я рассказывал о бандитах, об убийствах и грабежах; когда я сказал, что главаря банды зовут Тэкс, Казимир Павлович повторил:

— Тэкс?! Странное какое-то имя... Сколько в нем апломба, жестокости и пошлости, мещанской безвкусицы... Кто скрывается под этим именем?.. Скорее всего какой-нибудь озверевший обыватель, жлоб, как у нас называют таких в Ленинграде. И давно они бесчинствуют?

— Да как фронт отодвинулся, люди стали возвращаться, строить, завод пустили... тут они и объявились.

— А что же милиция?

— Да какая там милиция?! Три калек на весь район... Старые дядьки... Только всякую шпану, пацанов ловят... Солдаты еще есть, но они при немцах круглые сутки, да и далеко лагерь военнопленных, за нефтебазой...

— Да-а-а, — сказал Казимир Павлович, — прямо осадное положение. Война продолжается... Видел я настоящих фашистов еще в тридцать третьем году, был в Германии в командировке... Идут строем, во всю улицу, факелы горят, песни маршевые, зажигательные, лица вдохновенные... Как же, нибелунги, викинги, арийцы! А остальные — евреи и коммунисты. Их необходимо уничтожить!.. Это мы с вами... все, кто не арийцы и викинги.

Казимир Павлович говорил медленно, как бы думая вслух. Ходил по комнате, а Таня явно беспокоилась, следя за ним. Казимир Павлович остановился возле

фотографии смеющейся женщины в длинном белом платье. Портрет ее в аккуратной дубовой рамке висел на стене над письменным столом. Казимир Павлович тронул рамку, поправляя фотографию, потом взял молоток и немного подбил гвоздь, на котором висела фотография.

Снова закурил трубку, и когда он ее раскуривал, я увидел, как дрожит его большая рука.

Таня встала, пошла к письменному столу, открыла один из ящиков, достала большой пузырек, набитый таблетками.

— Не надо! — резко сказал Казимир Павлович. — Не надо, доченька, — повторил он уже спокойно и сел за стол. — Больно обо всем этом говорить, — продолжал он. — Особенно больно смотреть на вас, наших детей, и понимать, что ваше детство совпало с самыми трагическими часами истории. Ты знаешь, Таня, когда я услышал по радио, что началась война, я посмотрел на тебя, — ты в это время, в длинной ночной рубашечке, с распущенными волосами, вся заспанная, выходила из своей комнаты с любимой куклой Катей в руках, — у меня защемило сердце, и я с горечью подумал: зачем я родил тебя, зачем пустил жить в этот страшный мир, в котором идет жестокая борьба идей и в огне войны сгорают дети, как беспомощные мотыльки...

— Но я же не сгорела, папочка, — все еще тревожась и держа пузырек с лекарством в руке, сказала Таня. — И кукла Катя, она еще со мной, тоже жива...

Таня порылась в чемодане, нашла небольшую, почти облысевшую куклу в синем платице, взяла ее на руки как ребенка, подошла к отцу и устроилась у него на коленях, прижавшись к его груди. Ощувив Танино беспокойство, я сказал тихо:

— Да и я жив, и вот Ванька Сизарь жив, все у него убиты и померли, отец и мать и два старших брата, а он жив, и много других ребят — нас ведь целая шко-

ла... Взрослых много побито, а мы — ничего, остались... Живем — хлеб жуем, — неловко улыбнулся я.

Казимир Павлович, обняв Таню, с каким-то удивлением посмотрел на меня и задумался тяжело и основательно, глядя прямо перед собой.

Чай остыл в стаканах. Мягко стучали старинные часы на стене. За окном подвывала метель. Таня, приложив палец к губам, показала глазами на дверь и прикрыла глаза. Я понял, что мне пора уходить. Что-то сделалось с Казимиром Павловичем.

Я встал, потихоньку вышел и осторожно закрыл за собой дверь.

Глава седьмая

В этот вечер взрослые определенно преследовали меня исповедями. Когда я вошел в нашу комнату, то увидел, что, уронив голову на стол, на котором стояла пустая четвертинка, стаканы, пышки и вареная картошка, глухо стонал Сергей Иванович. Над ним склонилась мама, гладила его рукой по заросшему затылку и говорила, плача:

— Я сейчас постелю тебе на диване, ты согрейся, Сереженька, согрейся и усни...

Уложив меня на свою койку, а Сергея Ивановича на мой диван, мама ушла в ночную смену.

Я долго не мог уснуть, все думал о Тане, о Казимире Павловиче, а когда наконец уснул, мне пригрезилась смеющаяся женщина в длинном белом платье; я ее узнал, это была Танина мама, она смеялась и грозила мне пальцем, потом стала плавно кружиться, на руках ее уже была Таня, маленькая, в ночной рубашке и с распущенными волосами, маленькая Таня обняла маму за шею, прижалась к ней, скосила глаза в мою сторону, приложила палец к губам, а Танина мама давала что-то мне, протягивая свободную руку, и я дол-

го не мог догадаться, что в ее руке зажата ленинградская ватрушка...

Что-то стукнуло и загремело. Я проснулся. В темноте по комнате двигалась белая фигура. Я привстал.

— На стул налетел в темноте, — сказала фигура. — Извини, брат. Курить захотелось.

Сергей Иванович сел на диван, закурил, вспыхнувшая спичка на секунду осветила его крутой профиль.

— Как вы себя чувствуете? — спросил я.

— Ничего. Потом извошел, сейчас лучше, размяк весь. У вас тепло, и диван такой мягкий... Не то что в моей конурке.

Он покурил еще, потом спросил меня:

— Как там в гостях у инженера? Понравились пышки?..

— Хорошо было... Книг у них сколько! Пышки очень хвалили, а вас и маму в гости зовут...

— Значит, хорошие люди, да?

— Ага!..

Сергей Иванович сказал:

— Вить, иди ко мне, посидим, поговорим!

Я слез с маминой койки, сел на диван.

Сергей Иванович придвинулся ко мне, прижался.

— Возьмешь меня в отцы? — сказал Сергей Иванович, и я почувствовал, как напряглось все его тело.

Сильно забилося мое сердечко, рядом мощными, судорожными ударами — и я это чувствовал, прижатый к левому боку Сергея Ивановича, — стучало его большое сердце.

А у плеча моего шевельнулось что-то живое и горячее, я понял, что это обрубок его левой руки.

Я, замерев, искоса глядел на Сергея Ивановича, на его лицо, чуть подсвеченное красноватым огнем папирсы; слышал, как он старался не дышать; видел пустой рукав белой нательной рубашки, беспомощно свисающий с широкого его плеча, и все это пронзило мое

сердце острой жалостью к Сергею Ивановичу и горькой смутной памятью об отце.

— Иди! — сказал я. — Иди жить с нами!

И сам прижался к своему новому отцу. Сергей Иванович откашлялся и хрипло сказал:

— Спасибо тебе, Витя!..

И вдруг вскочил и забежал по комнате.

— Ну это же надо, что жизнь мне показывает, а? То жить не хочется, а то сердце лопается от счастья... Нет, ничего у них не вышло, Витя, правда, ничего не вышло у этих вонючих фашистов! Вот они хотели всех нас извести... убивали нас, убивали, жгли, вешали, душили, топили... Уморились, гады! А мы остались! Мы опять, кто остались, все вместе, друг за дружку... И нет нам никакой смерти, и не будет никогда смерти человеку, а вам будет смерть, звери!..

Весь в белом, Сергей Иванович метался по комнате как привидение и яростным шепотом кричал свои слова и грозил кулаком в огромную глухую ночь за окном. Потом снова сел рядом со мной, обнял меня и поцеловал в губы, крепко, как родного. Успокоился, снова закурил.

— Жить будем, Витя!.. Жить будем нормально.

Я осторожно погладил сквозь рубашку горячий твердый бугор у плеча Сергея Ивановича.

— Больно?..

— Знаешь, как интересно болит? Как будто рука цела, я ее всю чувствую... Около локтя болит, пальцы чувствую, как болят. Руку тогда вспоминаю. А так — нет, как будто однорукий и родился.

— А где вам ее ранило, дядь Сережа?

— На Днепре. Батарейю на плотках переправляли. Рядом снаряд рванул — плот чуть не опрокинулся. Мы в пушку вцепились, а она набок. Ну и придавила мне руку в свалке. Пока очухались ребята, вытащили меня, кровища и кость из рукава торчит... В госпитале оч-

нулся.. Уже нет ее, родимой. Где, ору, рука? Была, да сплыла. Да-а-а. С солдата все дело идет...

— Дядь Сереж! Больно ведь было ужас как?

— Тогда не помнил боли. Запарка была такая, как в аду на сковородке, все шипит и рвется кругом, орут все, матерятся. Пушку подняли с меня, я вскочил, рука на ниточках болтается, а я командую. До самого правого берега прямой наводкой били. Потом сознание потерял. Открыл глаза... тихо... бело... а руки уже нет.

— Мой папка под Ленинградом погиб смертью храбрых. В последнем письме писал, что видел во сне, как мы с ним на рыбалку в Репное ходили. Мы с ним часто туда ходили в воскресенье. Пешком ходили... Папка посадит меня на шею и идет себе.

— Мы с тобой, Витюша, тоже будем ходить на рыбалку, я это дело люблю. Мы с тобой хорошо будем жить, Витюша, дружно. А папка твой и погиб как герой, и в жизни был хороший человек. Я его хорошо знал, вместе работали.

— А еще он писал, что вступил в коммунисты, и мне велел, чтобы я о комсомоле не забывал.

— Когда же в комсомол?

— В седьмом классе. Дядь Сережа, а вы тоже вступили в коммунисты?

— В Сталинграде, Витя!.. Тоска на сердце была смертная, ну, ей-богу, думал, что конец! Не удержим немца. Ну прет и прет. Мы их кладем тысячами, они нас, а он еще тысячами прет. Чувствуем, хоть мы и русские, двужильные спокон века, а у нас хребет трещит и рвется.

Страшно нам стало. Не за себя, ей-богу, в таком пекле человек стервенеет и смерть — как забытье от этого ада. Страшно стало за государство, за страну... Ты слушай внимательно, Витя, тебе в комсомол хоть и в мирной жизни вступать, все равно пригодится... Понимаешь... я тогда над Волгой, в своем окопчике над

обрывом, в первый раз всю нашу Россию увидел, и Воронеж наш, и Сибирь, аж до Сахалина достал, как на карте. Как же так, думаю, все насмарку... И революция наша... А коммунизм как же? Всему конец?

Батя мой революцию делал с большевиками, в гражданскую кровь лил. Горб ломал на заводе... Зазря, что ли?.. Он же человек был серьезный, основательный и если уж решил с большевиками идти — значит, верно! Только так! А я что — глупый совсем?! Мне хоть и было перед войной тридцать, а батя меня все пацаном звал, но я же видел, соображал, куда жизнь идет... Если у тебя в руках профессия и сам ты работаешь как следует — на тебе, Сергей Иванович, зарплату хорошую, на тебе квартиру. Уважение и почет тебе, расхороший ты наш человек, Сергей Иванович, как жизнь, как семья? Какие виды на будущее? Почему не учись?.. Это все мой батя завоевал, а я не смогу от огня спасти? От фашиста?!

Подбираю я как-то немецкую листовку, а они там пишут вроде того, что беспартийные, мол, могут сдаваться спокойно, им ничего не будет, наоборот, мол, при новом орднунге им райская жизнь будет обеспечена. А комиссаров — к стенке!

Пришел я с этой листовкой и заявлением к парторгу.

— Принимай, говорю, беспартийного рабочего и солдата в партию. Раз вас фашисты грозятся к стенке поставить — и я с вами. У нас судьба одна, мне батя еще в 1917 году ее выбрал и по наследству передал.

У парторга глаза заморозили, губы трясутся, а сам вроде бы сердится.

— Ты что это — панику разводить?! Какая стенка! Это мы их закопаем, вобьем в землю нашу, здесь же, у Волги! Запомни это! И скоро!..

Через два месяца мы их били, гнали и били; ох как мы их гнали! Гнали и били!..

Видишь теперь, куда мы, большевики, свою судьбу повернули. Европу теперь спасаем!..

— Скоро война кончится, дядя Сережа?..

— Конечно, скоро! Мне дружки из Венгрии и Пруссии пишут: до Берлина рукой подать...

Утром пришла с завода мама. Наверное обо всем догадавшись, она разбудила нас с Сергеем Ивановичем, спящих в обнимку на диване, громким, ликующим возгласом:

— Поднимайтесь кушать, заспались совсем, мужики мои!

Глава восьмая

Пришла первая оттепель. Светло и ярко было во круг, глаза слепило снеговой белизной, в лицо дул талый ветер, спину грело солнце. Сугробы снега потемнели на солнечной стороне, в пустых окнах сгоревших домов сверкающей бахромой висели сосульки. Ветер гулял в разбитых коробках. Одиноко ему было там, неприкаянно, он тоненько посвистывал среди промерзших за зиму красных стен; а сами дома, с гирляндами сосулек, причудливыми наплывами льда, наносами смерзшегося снега, казались лунными замками, которые никогда не оттают.

Но все это было привычно, мы жили здесь. В конце этой мертвой улицы шумела наша школа, а посередине ее работал райком партии, работала и баня с парикмахерской, а там — за голыми, черными сучьями деревьев — высились корпуса завода, и стоял над ним неумолкающий, уверенный гул и скрежет. Там работали наши родители.

Женщина волокла саночки, в них сидел укутанный в старое тряпье малыш и доверчиво улыбался мне, пуская пузыри. Кто-то позвал меня. Я оглянулся. Ко мне бежала, размахивая сумочкой, Таня. Помпончик прыгал у нее на голове.

— Куда ты, Витя? — тяжело дыша, спросила она меня. Улыбаясь, она смотрела на меня черными, как смородина, глазами, и я, как всегда, смутился под ее открытым взглядом.

— Сизаря ищу. Его вчера в школе не было, а он мне позарез нужен.

— Зачем же он тебе так необходим? — кокетливо поправляя шапочку, спросила Таня.

— Да нужен... Понимаешь, Таня... сегодня вечером... Сергей Иванович велел всем нашим собраться... Будем разрабатывать план...

— Ой как интересно! — заглядывая мне в глаза, тараторила Таня. — Я тоже хочу разрабатывать план, разве я не наша?.. Ну, Витенька, возьми меня с собой, а?.. Я тебя очень прошу!

— Сергей Иванович будет злиться...

— Не будет, Витенька, он добрый и умный дядечка. Я с ним познакомилась. Возьми, Витя, пожалуйста!..

Ну разве мог я устоять перед этой удивительной девочкой?! И вообще, как только она появлялась рядом со мной, это событие влияло на меня так сильно, что я сейчас же начинал отчетливо видеть себя со стороны, и очень себе не нравился, и мучился этим и смущался, а оттого ломался и выпендривался бог знает как и становился просто смешным.

Вот и сейчас я нахмурился, сощурил глаза, зашевелил губами и надолго задумался. Таня, прыснув от смеха, зажала варежкой рот и смотрела на меня, деланно серьезно округлив глаза.

— Ладно, Таня, так и быть, приходи сегодня к нам к семи часам. Только сиди тихо в углу, как мышка, и не подавай голоса.

— Есть, товарищ командир! — приложив руку к своей шапочке с помпончиком, весело сказала Таня и захохотала, и я радостно засмеялся вместе с нею. По-

том мы решили сделать наши дела вместе. Мы сначала пошли в аптеку за лекарствами для Казимира Павловича. По дороге мы говорили о нашей большой белой собаке, которую мы не могли найти до сих пор; исчезла куда-то одинокая голодная собака, жаль, если она околела где-нибудь в развалинах.

Таня говорила очень интересно о благородстве собак, об их искренней привязанности к человеку, о том, что, когда собаки чувствуют приближение смерти, они покидают людей и умирают неслышно и невидимо в одиночестве.

Но я был уверен, что наша большая белая собака жива, она, как и все люди сейчас, закаленная и привыкшая к голоду и холоду, просто рыскает в поисках еды и тепла где-нибудь в других местах и обязательно вернется на нашу улицу.

А может быть, ее кто-нибудь уже пригрел? А может быть, и вправду она околела?..

Проходили мы мимо зеленых дощатых ларьков, выстроившихся несколько штук кряду подле бани и недалеко от заводской проходной. Ларьки эти звали «забегаловками», «кильдимами» и другими названиями. Здесь иногда пили водку усталые мужчины, работяги, отцы семейств, идя со смены домой.

Но сейчас тут было тихо и благопристойно. У крайнего ларька сидел, словно приделанный к саночкам, безногий инвалид. Шапка его лежала на снегу, по левую руку инвалида. Это был дядька Сизаря. Одет он тепло и добротно. На нем плотная зеленая армейская стеганка, из-под нее выглядывал толстый свитер, а весь низ был аккуратно заделан и подшит толстым серым сукном. Сизарь все это сделал, больше некому. Рядом лежали коротко обрезанные лыжные палки. Ими инвалид ловко отталкивался и быстро скользил по снегу. Когда он напивался, то играл на гармошке и пел.

Солнце стояло сейчас над лысой головой инвалида,

он был еще не сильно пьян, а потому раздражен и, зло сощурившись, смотрел на нас.

— Здравствуйте! — тихо сказал я. — Ваня дома?

— Дома!

— А почему он не был вчера в школе?

— Девчонки хворают... обе двое... Ходит за ними...

— А к нему можно?

— Можно! Почему нельзя?.. А что это я твою подружку не знаю, парень?

— Это Таня, она недавно из Ленинграда приехала.

— Из Ленинграда? — Взгляд инвалида смягчился, и он с участливым любопытством смотрел на Таню. — Ах ты, синица бедная... Наголодалась, поди... То-то я смотрю, светится вся... Ну теперь ты, девочка, у нас. В Воронеже голодно, а все же хлебушек есть. Верно я говорю, девка, а? — И инвалид засмеялся. — Ну ладно, топайте по своим делам.

Мы с Таней прошли уже несколько десятков метров, когда я обернулся и... замер. К ларькам, пересекая дорогу, шел Кот. Да, это он, большой, крепкий, с рыжей физиономией, в бурках, полупальто. В руках он держал сверток.

К нему, радостно и шустро толкаясь палками, катился инвалид. Вот они встретились, Кот небрежно махнул инвалиду рукой: следуй, мол, за мной, — и они исчезли в дверях ларька...

Что мне делать сейчас?! Я тащу Таню за руку, и мы прячемся за разбитыми остатками каменного забора, когда-то огораживавшего баню.

— Что случилось? — Ничего не понимая, Таня сердится.

— Таня! — возбужденно шепчу я ей на ухо. — Там с этим инвалидом — Кот! Понимаешь, Кот!

— Какой кот, Витя? Объясни же толком!

— Помнишь, я рассказывал вам о банде?

— Помню...



— Ну так вот этот Кот — один из них, один из главных бандитов!

— Ой! — вскрикивает Таня. Я зажимаю ей рот. Она испуганно смотрит на меня.

Я выглядываю из-за каменного выступа. У ларька, в котором сейчас Кот с инвалидом пьют водку, пусто. И на улице тоже никого нет. Что же делать?..

— Таня! — говорю я серьезно. — Ты должна нам помочь. Беги сейчас же в школу, найди Сергея Ивановича и скажи ему, что я преследую Кота из банды. Все. Ну давай жми как можно быстрее!

— Ой, Витюша!..

— Да беги же ты скорее!

И вдруг Таня обняла меня за шею двумя руками и, приблизив вплотную к моему лицу по-настоящему испуганные блестящие глаза, поцеловала меня в щеку. Я весь вспыхнул от смятаения, но виду не подал, а только пробурчал сердито:

— Ладно же тебе!.. Беги скорее!..

Таня побежала изо всех сил вдоль забора, немного косолапя, быстро-быстро мелькая защитными пятками валенок; помпончик неистово прыгал у нее на голове и казалось, вот-вот оторвется. А я, глядя ей вслед, еще ощущал на правой щеке, вот здесь, рядом с ухом, прикосновение ее теплых и влажных губ, постепенно остывающее на морозце.

Первым из ларька вышел Кот. Он, задрав голову в небо, добродушно щурился на солнце, отдувался, неторопливо, с блаженством закурил. За ним выкатился инвалид и принялся на радостях кружить, отталкиваясь палками, вокруг своего благодетеля. Но Кот не стал больше задерживаться с инвалидом, а, легонько хлопнув того по лысине на прощание, пошел прочь от ларька. Инвалид сначала проехал за ним немного, Кот что-то сказал ему, и инвалид отстал, медленно покатился назад к ларьку и встал на своем посту снова,

возле своей шапки, одиноко лежавшей все это время на снегу.

Я пошел вдоль забора вслед за Котом. Тот шел теперь неторопливо, мерно хрустя по снегу роскошными бурками, пересек Ленинградскую улицу и пошел по направлению к Монастырке. Это было быстро увеличивавшееся поселение частных домиков, сбитых и слепленных на скорую руку. К Монастырке вела прямая, пробитая в высоких сугробах дорога, и мы сейчас шли по ней с Котом одни. Кругом было тихо, слегка подморожено, солнечно.

Кот шел, наслаждаясь первым мартовским теплом, он растегнул полупальто, насвистывал и напевал.

Больше всего я боялся, что Кот оглянется, увидит меня. Конечно, он меня не знает, но я боялся, что выдам себя всем своим обликом испуганного и неумелого сыщика. Мне бы идти так, как идут ученики из школы домой, освобожденно и весело помахивая портфелем, гоняя по пути льдинки на дороге, я же шел тихо и напряженно, метров за пятьдесят от Кота, стараясь не скрипеть снегом, сдерживая дыхание, упершись взглядом в его широкую спину.

Ей-богу, если бы он оглянулся, он наверняка что-нибудь заподозрил бы; но пока мне везло: Кот не оглядывался даже тогда, когда в порыве какой-то радости, посетившей его сейчас, подскочил к сугробу, слепил своими ручищами огромный снежок и запустил его в синее, заполненное солнечным светом небо и, заложив два пальца в рот, оглушительно засвистел, так, как свистят мальчишки, когда гоняют голубей.

Снежок упал недалеко от Кота на дорогу и, лопнув от удара, рассыпался в пыль. Кот постоял на месте, глядя туда, куда упал снежок, еще постоял, сунув руки в карманы, покачиваясь на своих бурках; он стоял спиной ко мне довольно долго, и я, как дурак, замер в ужасе недалеко от размечтавшегося о чем-то банди-

та... Но вот Кот подобрал с сугроба свой сверток и пошел дальше, уже быстрее и деловитее... И мне стало значительно легче идти за ним.

Мы вошли в Монастырку. Сначала шли по большой улице, сияющей от снега на крышах маленьких домишек и от солнца, потом Кот повернул в проулок и стал пересекать его, направляясь к ярко-голубому заборчику, за которым стоял, засыпанный снегом, маленький, сложенный из серого шлакоблока дом. Я тоже решительно повернул в проулок и, уже не скрываясь, как и положено школьнику, возвращающемуся домой с уроков, размахивая портфельчиком, быстро шел, догоняя Кота, по противоположной стороне.

Когда Кот стучал в голубую калитку, я смело вошел в калитку домика напротив и, закрыв ее за собой, замер там. В дворике, куда я вошел, было пусто, собаки, слава богу, не было, хозяев, кажется, тоже — никого.

Я стоял, не двигаясь, и слышал все, что происходило у голубой калитки напротив.

На стук Кота открылась дверь дома, и с порога мужской голос крикнул:

— Кто?

— Квартирантку позовите, Елену Тихоновну, скажите, опять родственник из деревни на минутку заскочил. — Голос у Кота был глуховатый, с хрипотцой.

— Да вы заходите, калитка не заперта, заходите в дом-то...

— Да ладно, мне некогда, полуторка за углом стоит, зовите квартирантку скорей...

— Станный вы человек, ей-богу. Какая разница, где время терять, на улице или в доме?

— Воздух больно хорош, подышать хочется...

— Ну как хотите, была бы честь предложена.

Дверь стукнула, наступила тишина. Кот тоже ждал тихо. Дверь снова открылась. Шаги простучали по

крыльцу, проскрипели по снегу, калитка хлопнула...

— Здравия вам желаем и приветы горячие передаем от сыночка вашего, Елена Тихоновна, — зашептал Кот негромко, но так, что я все слышал.

— Здравствуйте! — тихо сказала Елена Тихоновна, и я вздрогнул. Это был голос учительницы истории.

— Вот вам, Елена Тихоновна, еще подарочек от любящего сына. Тут всего понемногу: мясо, сало, масло, сахарок... От кого, мол, и зачем?.. Из деревни, и все... Сами понимаете, конспирация. А то б мы вас, дражайшая мама, завалили бы жратвой... Так что питайтесь, Елена Тихоновна, на месячишко вам хватит, одинокой женщине, а я вам еще принесу. Вот и все, боле ничего. Я пошел, уважаемая Елена Тихоновна.

— Да постоит же! — прорыдала Елена Тихоновна. — Как там Леня?..

— А что Леня? Большого полета птица и живет широко. Это он для вас Леня, а для нас он ого-го!..

— Да что же вы делаете? А? — истерически крикнула Елена Тихоновна.

— Тихо, мама, тихо! Пожалейте Ленечку своего. Меня поймают — и ему крышка, — жестко сказал Кот.

— Вас же расстреляют всех! — зашептала испуганно Елена Тихоновна.

— Обязательно расстреляют... если поймают, а пока мы пожьем на всю катушку...

— О-о-о!..

— Все! Я за ваши муки материнские не ответчик. У меня мамы нет с детства... Идите домой... Да-а-а... лицо у вас... слезы вытрите. Хозяевам скажите, если что, дурную весть, мол, привез родственничек из деревни... Кто-то там умер... дядя... тетя... Скажите что-нибудь так! А то они подумают, что это за родственник такой, как придет, так вы в слезах... Молчите, мама! И терпите! Я пошел...

— Ленья... здоров ли он?! — прошелестела обессиленная Елена Тихоновна.

Кот хохотнул и зашагал прочь. Я дождался, когда хлопнула дверь дома, закрывшись за Еленой Тихоновной, и побежал. Выскочив из проулка, я едва не налетел на Кота. Он стоял боком ко мне, прикуривая, и мне ничего не оставалось делать, как бежать дальше мимо него, размахивая портфелем. Кот благодушно крикнул мне вслед:

— В школу, пацан, да? Ну, давай-давай...

По дороге, пробитой в высоких сугробах, я бежал долго, боясь оглянуться, надеясь, что Кот идет за мной.

А когда я наконец оглянулся, то увидел, что Кот ушел довольно далеко в другую сторону и теперь быстро идет к трамвайной остановке, к которой, отдаленно подвывая и постукивая на рельсах, подкатывает «семерка». Забыв про всякую конспирацию, я помчался назад, к трамваю, я понимал, что не успею, но бежал изо всех сил, и слезы отчаяния застилали мне глаза. Сквозь туман я видел, как Кот торопливо докуривал папиросу, сплюнул на нее, бросил и вмял буркой в снег; трамвай прозвенел и дернулся — мне оставалось бежать метров пятьдесят. Кот взялся за поручень, оглянулся и увидел меня, изо всех сил догоняющего трамвай, и заинтересованно наблюдал, как я бегу; и веселое сочувствие обозначилось на его красной физиономии, он крикнул: давай, пацан, давай! — а сам уже вскочил на подножку разгоняющегося трамвая и глядел, смеясь, на меня, с перехваченным дыханием и с выпученными глазами мчащегося за трамваем метрах в десяти от заднего вагона; и протягивал мне свою огромную лапу и подбадривал: давай, пацан, давай! А я уже не мог ничего давать, сердце мое выскочило из груди и застряло в горле, ноги подгибались, а трамвай набирал скорость. Кот, хохоча, прощально махал мне ру-

кой, и я, бессильно зацепившись за шпалу, повалился в снег.

Затихал вдали трамвайный вой и гром, лишь вздрагивал рельс на уровне моих глаз, и надо мной стояло огромное, бездонное, какое-то ультрамариновое небо.

Я лежал немного на спине, приходя в себя после сумасшедшей погони за трамваем, чувствуя, как постепенно остывает все мое взмокшее тело, и думал о том, что уже второй раз Кот укатывает от меня на трамвае...

Что же теперь делать?.. Как что?! Я вскочил.

Как что! Я же теперь точно знаю, что Елена Тихоновна... Надо же, а?.. И молчит, ведьма! Ну, погоди, молчальница, пергаментная рожа. Возьмут тебя за бок — быстренько расколешься. Ее сын — бандит, грабит, убивает людей, а она знает об этом и молчит! Лечечка, а?.. Ничего себе сыночек! У других сыновья все на фронте погибли, а эти... Откуда только берутся такие?!

Злой и усталый, я шел вдоль трамвайных рельсов. У последней кирпичной развалины дома, пламенеющей под солнцем на краю пустыря, отделяющего поселок завода от Монастырки, в дрожащем мареве света и первого весеннего тепла показались две человеческие фигурки. Одна из них, высокая, ладная, в длинной шинели, энергично размахивала одной рукой. Другая — маленькая, в шапочке с помпончиком. Они быстро шли ко мне, и сердце мое залилось теплом и радостью после пережитого напряжения — это были родные люди, свои люди, с ними было легче жить среди этих бесконечных угрюмых красных камней войны.

— Сергей Иванович! Та-а-ня-а-а! — Я побежал к ним навстречу.

Глава девятая

— Ты ничего не напутал, сынок? — сказал Сергей Иванович. — Вот так-так!.. Говоришь, этот самый Тэкс, Ленечка который, Елене Тихоновне сыночком приходится?! Дела-а-а...

— Да точно все, Сергей Иванович! — говорил я возбужденно, отмахиваясь от Тани, которая, сняв варежку, старательно очищала от снега мое пальто. — Да погоди ты, Таня... Вот так я за калиткой стою, меня не видно, а вот так, через улицу, — они шепчутся. Я все слышал, все, все... Улочка узенькая... проулочек.

— Надо немедленно арестовать эту Елену Тихоновну! — сказала Таня, не переставая счищать с меня снег.

— Конечно! Чего еще ждать?! Прижать ее к стенке, небось сразу расколется, где прячется ее дорогой Ленечка! Знает ведь, ведьма скрытная, а молчит! — напирал на Сергея Ивановича и я.

Сергей Иванович стоял задумавшись и только повторял:

— Надо же, а? Надо же?.. То-то я все смотрю, чем же так страдает эта тетя... А оно вон как вышло!.. Говоришь, она знает, где их малина? — спросил Сергей Иванович, все еще растерянный и пораженный тем, что услышал от меня. — Знает, говоришь?

— Да знает! Как же не знает?!

— А если не знает? — спросил вдруг Сергей Иванович, как бы придя наконец в себя. — Если не знает? Тогда что?.. Тогда ничего, понял, брат, жди месяц, когда Кот ей еще пакетик принесет. А за месяц они дел наворочают!.. В общем так, ребята. Татьяна, ты иди домой, а потом в школу, как положено. И никому ни сном ни духом, даже папаше своему, ни словечка! Поняла, Таня? Это очень серьезные дела, и ты должна понять.

— А вы... Витя как же? — начала было канючить Таня, но Сергей Иванович прикрикнул:

— Я же только что сказал, что дела очень серьезные! — Сергей Иванович положил руку на плечико Тани, посмотрел ей прямо в глаза. — Серьезные очень дела, девочка! Понимай! Сейчас надо делать то, что я велю. И молчать. Иди, Татьяна!

Таня примолкла, еще раз провела варежкой по моему пальто, поправила на мне сбившийся шарф и тихо пошла от нас, не оглядываясь.

— Невестушка! — ласково сказал Сергей Иванович ей вслед. Я хоть и покраснел, но ничего не возразил своему отчиму, а только смотрел, как идет, опустив голову и слегка косолапя подшитыми валенками, моя Таня; как она уходит от нас и скрывается за углом разбитого дома с пустыми глазницами окон.

— Ну, пойдем! — сказал Сергей Иванович решительно. И мы быстро пошли по той же дороге среди высоких сугробов, по которой я шел недавно вслед за Котом.

Сергей Иванович шел, энергично размахивая рукой, шел молча, наверное обдумывая, как и что он будет говорить Елене Тихоновне. Я едва поспевал за ним. У калитки дома, где жила Елена Тихоновна, Сергей Иванович постоял немного, отдышался, сильно постучал и громко крикнул:

— Открывай, хозяйева! Есть кто дома?

Из дома вышел, накинув полушубок на плечи, хозяин. Сергей Иванович громко спросил, здесь ли живет учительница Елена Тихоновна и можно ли к ней пройти.

— Ходют и ходют! — бурчал, подозрительно глядя на нас, заросший щетиной хозяин. — Что за птица такая эта училка?..

Хозяин провел нас в дом и показал на дверь, обитую мешковиной и дранкой крест-накрест. Сергей Иванович чуть приоткрыл дверь, не заглядывая в нее.

— Елена Тихоновна! Можно к вам? Это из школы, это я, Нефедов, военрук...

— Да, войдите, — услышал я слабый голос учительницы истории.

Елена Тихоновна сидела в большом тяжелом кресле, обитом кожей. Она куталась в старенькую белую пуховую шаль и настороженно смотрела на нас.

— Здравствуйте, Елена Тихоновна! Не приболели ли вы случаем? — сказал Сергей Иванович.

— Слабость что-то напала и знобит... Но это пройдет. Хозяин затопит, и будет теплее. Он раз в сутки топит, экономит. Да вы садитесь...

— Благодарствуйте, Елена Тихоновна. Давай, Витя, садиться.

Сергей Иванович сел на табуретку у стола, я — у двери.

Сергей Иванович снял шапку и положил ее на стол рядом с пакетом, обернутым в мешковину. Тем самым, что я видел в руках у Кота. Судя по всему, Елена Тихоновна к нему еще не притрагивалась. Сейчас она вся напряглась и не выдержала, с трудом поднялась с кресла, медленно, шаркая ногами в больших валенках, подошла к столу, взяла сверток и перенесла его в другой конец комнаты, положив на подоконник. Вернулась к креслу и тяжело опустилась в него.

— Я вас слушаю, Сергей Иванович...

Сергей Иванович смотрел-смотрел на Елену Тихоновну, смотрел изучающе и задумчиво, а потом вдруг тихо сказал:

— Пакетик-то этот от сыночка подарочек? Да?..

Елена Тихоновна испугалась сразу и была сломлена.

— Вы все знаете? — пролепетала она в ужасе и заплакала, закрыв лицо руками. Подождав, пока она немного успокоится, Сергей Иванович сказал:

— Около часа назад вы встречались с одним из главарей банды, которую организовал из дезертиров, пре-

датель и уголовников ваш сын по кличке Тэкс. Теперь я знаю его настоящую фамилию. И должен сказать вам, как лицо официальное, как член райкома партии и общественный уполномоченный органов милиции, что под такой фамилией разыскивается дезертир, исчезнувший из тылового госпиталя еще в 1942 году. Теперь ясно, что сын ваш — еще и бандит, грабитель и убийца. Вы знали все это?

Елена Тихоновна прошептала:

— Я... я... не знала... Я подозревала только, я не хотела верить во все это ужасное, что случилось с моим Леней...

— Как же так, Елена Тихоновна? Вот сидит ваш ученик. Час назад он видел, как вы встречались с одним из ближайших помощников Тэкса, говорили с ним и взяли от него вот этот сверток. Там продукты?

— Да... там, наверное, немного мяса, сало... как всегда... Я не разворачивала его...

— Сколько раз вы получали такие посылки от сына?

— С сентября каждый месяц...

— Сын сам не приходил?

— Ни разу. Я его не видела с тех пор, как в сорок первом проводила на фронт. И писем от него не было с тех пор, ни одного. Когда этот... рыжий первый раз пришел, он показал мне записку. Там было рукой Лени написано: «Мама, я жив. Твой сын Леня». Больше ничего. Почерк Лени. Этот... рыжий тут же при мне сжег записку.

Я сначала догадалась лишь, что Леня убежал с войны. Умоляла этого... увидиться с Леней, хотела уговорить его явиться к властям с повинной, чтобы вернуться на фронт и спасти себя... Еще можно было... Ведь можно было, да?!

— В сентябре сорок четвертого?.. После двух лет

дезертирства?.. Трудно сказать. По крайней мере, явку с повинной зачли бы...

— Вот, вот... конечно, учли бы. Но этот... рыжий все смеялся, так цинично и нагло смеялся надо мной, и, я это чувствовала, и над Леней. И при каждой встрече проговаривался, потому что был каждый раз пьян и зол... Так что я стала подозревать о связи, существующей между этим негодяем, моим сыном и бандой Тэкса, о которой все стали говорить все больше и больше... Ох, господи, ну дай мне силы убить себя! — Елена Тихоновна заплакала, и плакала долго, согнувшись в кресле, спрятав лицо в ладонях. Плечи ее часто-часто дрожали. Изредка прорывался безысходный вопль, тут же заглушенный.

Мне казалось, что она притворяется. Я думал, что она могла бы давно уже сказать о своих подозрениях кому следует, помочь устроить засаду у дома и схватить Кота, когда он придет к ней в очередной раз с посылкой; самой в конце концов выследить, куда поедет Кот, и узнать, где находится «малина», и привести туда милиционеров и солдат. Да мало ли что еще можно было придумать, если ты не трус...

А это?! Сейчас поплачет, возмущенно думал я, мы уйдем, а она преспокойненько будет уминать сало и мясо... И тут я почувствовал, как у меня на голове самым натуральным образом горит шапка. Сразу я ее не снял, сидел в шапке; и сейчас она загорелась на моей стриженной макушке, потому что я вдруг вспомнил, как эту шапку мама покупала у Елены Тихоновны. Уже всю зиму я носил ее, привык к ней, шапка была теплая, с кожаным верхом, с коричневым мягким мехом.

Что, если эта шапка — с кого-нибудь из убитых или ограбленных бандой? О ужас! И я ношу ее!..

Я сорвал шапку с головы и сидел, вспотев от волнения и не зная, что предпринять. Сергей Иванович

подождал, пока немного успокоится Елена Тихоновна, и продолжал настойчиво ее спрашивать:

— Вам известно, где обосновалась банда?..

— Нет... Конечно, нет! Я же вам говорю, что я ничего не знаю точно, а только сердцем чувствую... Погиб мой Ленья, погиб, окончательно пропал...

— Да что вы все о Лене?! — Сергей Иванович разозлился, встал с табуретки и нервно заходил по маленькой комнатухе Елены Тихоновны от стола, накрытого выцветшей клеенкой, до кровати, узкой, аккуратно застеленной. Еще в комнате были старый комод и резная этажерка со школьными учебниками. Потому кресло, тяжелое, кожаное, в котором сидела сейчас Елена Тихоновна, казалось вещью из какого-то другого мира, нам с Сергеем Ивановичем неведомого.

Сергей Иванович остановился у кровати, над которой висел портрет мальчика лет пяти, снятого в саду на качелях. Он был одет в матроску, у него были густые волосы, и он весело смеялся. Сергей Иванович смотрел на мальчика.

— А о ком же мне еще плакать? — тихо сказала Елена Тихоновна. — Кого же мне еще оплакивать?..

Сергей Иванович подошел к креслу, хмурясь, положил свою единственную руку на плечо Елене Тихоновне.

— Того мальчика, Лени, сыночка вашего, уже нет. Он умер, как умерли и погибли от войны, холода и голода тысячи других наших детей... И мои дети в земле сырой лежат на Украине... Их надо оплакивать, Елена Тихоновна. И тех молодых солдат, их миллионы... Они все... грудью... до конца... до смертного часа... А Тэкс остался жить за их счет и все еще воюет с нами... Подло, из-за угла воюет... как шакал. Попробуйте же стать гражданкой, мать! Он же труп, мертвец, хотя и смердит еще. Пощады ему от людей и от закона уже ждать нечего!

— Вы хотите, чтобы я возненавидела своего сына? Разве я могу это сделать с собой?.. Научите же меня тогда вы, Сергей Иванович, как это можно сделать.

Елена Тихоновна встала во весь рост, высоко подняв залитое слезами лицо, и сквозь гримасу страдания на нем проступили твердые черты.

— Да если бы я даже знала, где прячется мой сын, дезертир, преступник и убийца, разве я нашла бы в себе силы сказать вам это?..

Сергей Иванович смутился немного, растерялся и даже отступил на шаг-другой от Елены Тихоновны, но тут же взял себя в руки, осторожно усадил Елену Тихоновну в кресло, зачерпнул кружкой воды из ведра и дал ее учительнице.

— Успокойтесь. Елена Тихоновна, — зло сказал он. — Я вам верю и больше ничего спрашивать не буду у вас. Такса мы поймаем и без вашей помощи. Только скажу вам прямо, — голос Сергея Ивановича даже зазвенел от ярости, — мы его будем судить при всем честном народе и расстреляем! Расстреляем как бешеную собаку!.. Это я потому так говорю, что народные страдания, наше общее горе вас не трогают. Извините за тяжелый разговор. Идем, Витя...

Я было вскочил и пошел вслед за Сергеем Ивановичем, но потом вспомнил про шапку — я все еще держал ее в руке — и уже из темного коридора вернулся в комнату Елены Тихоновны.

Она сидела в кресле, выпрямившись, и смотрела в дверь, в которую только что вышел Сергей Иванович, остановившимся взглядом. Увидела меня, но лишь отклонила немного голову в сторону, как бы заглядывая за меня и ожидая, что вслед за мной в комнату вернется Сергей Иванович и скажет о том, что его последние страшные слова были неправдой.

А я, взъерошенный, как петух, подскочил к ней и

почти швырнул ей в грудь злополучную шапку и прокричал:

— Возьмите эту шапку, заберите ее!.. Не нужны мне ваши бандитские шапки!

Елена Тихоновна не сразу поняла, о чем это я так распалился, а когда смогла осмыслить то, что я ей сказал, снова испугалась и, протягивая мне шапку, прошептала:

— Ну что ты, мальчик, что ты такое говоришь, Витя?! Это Лёнина шапка. Она от него осталась у меня. Я ее продала твоей маме, потому что тогда была совсем голодная...

А я уж выскочил во двор. Сергей Иванович ждал меня у калитки.

— Шапку забыл, — сказал он мне.

— Не... не забыл, — буркнул я. — Это Тэксина шапка. Не буду я ее носить...

— В чем дело? — рассердился Сергей Иванович и пошел в дом.

Он был там долго, потом вышел из дома с шапкой в руках и нахлобучил ее мне на голову.

— Не дури! — сказал он. — Шапка твоя, законно купленная. А что ее носил... сын ее... так что же... Он был тогда малец, такой же, как ты... А где мать тебе деньги возьмет на новую шапку, об этом ты подумал?.. То-то! Носи и не ерепенься.

Я, сердито сопя, шел рядом с Сергеем Ивановичем. Отчим взял меня за руку. Ладонь его была большая и теплая, в ней спряталась вся моя пятерня.

И шапка хорошо грела голову. И солнце светило ярко, и его тепло уже ощущалось сквозь холодный яркий блеск синего неба.

Сергей Иванович вытащил из-за отворота шинели толстую общую тетрадь в коричневой клеенчатой обложке.

— Вот, понимаешь, дала мне почитать... Плакала,

очень просила почитать. Я полистал немного, там еще, у нее... Похоже, исповедуется она в этой тетрадошке. Вот ведь дела какие, Витя! И злоба на нее душит, и жалко... Да-а-а... жизнь она жизнь и есть.

Сергей Иванович пошел тише, глубоко задумавшись. Я смотрел на него, видел его суровое, бледное лицо и вдруг испугался чего-то, какое-то гнетущее предчувствие тихо сдавило мое сердце и никак его не отпускало. Я тесно прижался к отчиму, он обхватил меня здоровой рукой, и мы шли, обнявшись.

Глава десятая

Вот она, тетрадка Елены Тихоновны, которую она доверила Сергею Ивановичу. Сколько лет она лежала в дальнем ящике моего письменного стола.

Теперь, когда их обонх нет на свете, эту тетрадь можно прочитать всем.

«МОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ С ЛЮДЬМИ ЭПИГРАФ

И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И уголь, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул».

И дальше:

«Единственное спасение и оправдание мое — моя совесть! Дай же мне силы преодолеть боль и хотя бы в исповеди не лгать людям и себе...»

Я предположил сразу и думаю, не ошибся, что «он» — это сын Елены Тихоновны, который в 1942 году стал дезертиром, а потом главарем бандитской шайки, известный в городе под кличкой Тэкс.

Думаю также, что образы Пушкина, о которых вспомнила Елена Тихоновна в своей тетради и которые по-своему истолковала, пусть косвенно, но дают представление о ее материнских страданиях.

«Не могу связно и сосредоточенно думать о том, почему именно мой Леня среди миллионов молодых солдат стал предателем, — начинает Елена Тихоновна. — Этому мешает повседневная страшная боль за него, боль, изматывающая меня и доводящая до галлюцинаций.

Только я начинаю думать, почему он стал таким, понимаю тут же, что ищу оправдания себе, ищу логику там, где ее найти невозможно: разве есть она в любви матери к своему ребенку и в том ли моя вина перед людьми, что я любила сына? Как любила? Господи, да разве я знаю? Это стало моей жизнью, как только он родился...

Попробую по порядку.

Когда случилась революция, мне было семнадцать лет, за год до этого я закончила гимназию, собиралась поступать в университет. Отец мой был служащий губернского статистического управления. Мама преподавала в гимназии латынь. Жили, в общем, скромно, но в достатке, даже несколько раз летом ездили в Крым, а за городом постоянно снимали дачу. Жили мы в доме у Девичьего монастыря, снимали второй этаж из трех довольно больших комнат. У нас был рояль, приличная мебель, книги. Убирала в комнатах и очень вкусно и разнообразно кормила нас сама хозяйка.

С революцией у нас связана одна семейная тайна. Дело в том, что в году пятнадцатом папа получил письмо от своей родной тетки, в которое была вложена копия ее завещания. Там говорилось, что тетка, готовясь к смерти и будучи одинокой, объявила моего отца наследником всего ее движимого и недвижимого иму-

щества. А оно было оолидным: огромный каменный дом на Волге, в Саратове, небольшая пристань с грузовым двором и два парохода. Нас ждало богатство, и небольшое. На семейном совете мы, скорбя о тете, решили так: поскольку деловых, предпринимательских качеств нет ни у папы, ни, тем более, у мамы, пристань, пароходы и дом тетки продать, а вырученные деньги большей частью поместить в банк под проценты, а меньшей — вложить в какое-нибудь доходное дело во главе с надежным и честным предпринимателем.

Из Воронежа решили не уезжать, но подыскать себе особнячок где-нибудь на Дворянской. Много говорили и о поездках за границу, долго спорили, с какой страны начать, решили — с Италии, как только кончится война.

Тетка прожила, борясь с тяжелой болезнью, год, потом еще год, а умерла лишь в восемнадцатом году во флигеле своего бывшего дома, занятого Советской властью в Саратове под приют для беспризорных детей. На теткинх пароходах революционные моряки и бойцы воевали на Волге с врагами революции. Пристань не досталась никому, ни нам, ни Советской власти, — она сгорела.

Расстались мы с этим поманившим наше воображение богатством спокойно. Отец переживал, правда, но молча и достойно и никому не велел говорить об этом и, не дай бог, жаловаться на новую власть, которой он служил так же добросовестно, как и прежней.

Революция бушевала вокруг нас митингами, жестокими боями, ночной стрельбой, плакатами и приказами на афишных тумбах, но мы продолжали жить примерно так же, как и до нее.

Новая власть к нам претензий не имела.

Молодое любопытство, несмотря на категорический запрет отца, тянуло меня на улицу. Меня сильно волновали худые, плохо одетые молодые люди, ору-

щие и спорящие до хрипоты на улицах и собраниях.

На одном из таких собраний в клубе «Железное перо», в революционном клубе журналистов, я скромно сидела в задних рядах и слушала, как возбужденно говорили с трибуны эти молодые люди с горящими глазами, читали стихи, выкрикивали лозунги, высмеивали друг друга.

Рядом со мной сидел юноша в студенческой тулупке, темноволосый, с несколько раз обмотанным вокруг шеи толстым вязаным шарфом, как у многих тогда.

Он бурно реагировал на все происходящее вокруг, нервничал: «Ну что он говорит? Какую чушь он несет, а?»; вскакивал и кричал яростно: «Долой!» — или аплодировал. Потом все-таки сорвался с места и с криком: «Прошу слова!» — помчался к трибуне. Его выступление приняли хорошо, он, радостный, с пылающими щеками, шел по проходу. И был красив в эти мгновения. Наверное, я откровенно любовалась им. Он заметил мой взгляд, глаза его благодарно сверкнули, а когда он сел рядом, положил свою руку, большую и горячую, на мою, и я не убрала ее.

Борис провожал меня домой. Был конец мая, надо ли говорить, как все вокруг цвело и благоухало, а он, к моему удивлению, молчал и был робок.

Мне уже исполнилось девятнадцать лет, я мечтала о любви, и мне казалось, что этот юноша из непонятного и бурного мира революции сумеет защитить меня от него, сумеет сохранить нашу любовь, пока все не успокоится.

Я верила отцу, который за вечерним чаем в нашей зашторенной и запертой на все замки квартире, прислушиваясь к частой ночной стрельбе, говорил:

— Это скоро кончится. Любая власть стремится к стабильности. Революция, войны, очевидно, неизбежны время от времени, они вызываются экономикой, и с

этим надо считаться. Но та же экономика потребует своего: нормальной государственной жизни. И мы будем жить так же, доченька!

Я привела Бориса в наш дом и сказала отцу и маме, что хочу выйти за него замуж. В разговоре с отцом, вежливым и напряженным, Борис сказал, что был на фронте, сейчас работает в газете и надеется стать писателем.

Нам отвели комнату, и там я стала счастливой молодой женой революционного газетчика.

Кажется, Борису было хорошо у нас. Набегавшись за день по городу, накричавшись, напорившись, замерзшись, наголодавшись, он с наслаждением и благодарностью отогревался, отъедался в нашем уютном гнезде, был нежен и ласков со мной.

Однажды отец осторожно спросил его о перспективах нашей семейной жизни. Произошел долгий и бурный разговор, содержание которого я сейчас плохо помню, потому что не все понимала, но главное я запомнила. Борис говорил о том, что революция — время отважных и ярких личностей, талантов и что он уверен в том, что это его время, что он прославится, еще не зная пока на каком поприще.

Меня обеспокоило, что он заговорил о фронте, куда он вновь собирается вернуться: вот, мол, где истинное поле деятельности для смелого человека, верящего в себя и не боящегося рисковать своей жизнью — игра стоит свеч. А писателем он будет потом. Почему же не попробовать стать славным полководцем революционной армии?

На это отец возразил, вспоминая Андрея Болконского из «Войны и мира» Льва Толстого. Болконский в народной отечественной войне тоже искал свой «Тулун», и чем все это кончилось? И потом, говорил отец, разве такие исторические события, как народные войны и революции, затеваются для того, чтобы такие,

как вы, Боря, молодые люди, зараженные бонапартизмом, искали свой шанс прославиться?

И еще он сказал Боре, конечно же, обидную вещь: он сказал, что нельзя доверяться собственной оценке своих талантов. Кто вам говорил, что вы — гений? Вы сами себе это внушили? Позвольте мне усомниться в этом. Ваши стихи и крикливые заумные статейки в газете просто бездарны и лишь говорят о непомерно раздутом тщеславии, о вашем потребительском отношении к революции.

Я вступилась за Борю, но отец был беспощаден: если вы, Боря, хотите добра революции и моей дочери, идите-ка лучше служить, как я, не то от вас им обсем выйдет один вред.

Борис окончательно рассердился и ушел в нашу комнату, где я долго утешала его. Наверное, именно в эту ночь я понесла от мужа, а он твердо решил ехать на фронт. Когда родился Леня, Бориса уже не было в живых. Он погиб где-то под Ростовом. Как и когда, точно я не знаю до сих пор.

Леня рос здоровым, сильным и энергичным. Все душевные силы я тратила на него. Наша жизнь размеренно и спокойно шла все в том же ритме. К 1930 году я окончила университет и стала преподавать историю в школе. Отец все служил, мама по-прежнему работала на дому и давала частные уроки музыки и латыни. Чем больше старели мои родители, тем более они привязывались к внуку.

Леню учили музыке, рисованию, чтению. Он подчинялся нам всем и ко времени поступления в школу уже играл на фортепиано, читал, знал счет.

Сам процесс домашнего обучения и воспитания он сносил терпеливо, но с большим удовольствием и сосредоточенностью играл в одиночестве во дворе, где у дальнего забора у него был ящик со всяким хламом: железками, палочками, стекляшками.

Я недоумевала, наблюдая, как подолгу он, разложив свое богатство, перебирал эти палочки и стекляшки.

С детьми своего возраста он общаться не умел, он становился возбужденным, толкал их, отбирал у них игрушки.

В первый раз я увидела его среди множества детей, когда мы все, я и старики, отвели его в школу. Их, первоклассников, выстроили на школьном дворе. По росту. Место Лени в строю было где-то в конце первых десяти человек, но когда его поставили туда, он вдруг перебежал и стал впереди, насупившись.

Мы растерянно улыбались, молодая учительница тянула его за руку на свое место, объясняя терпеливо, где ему положено стоять.

Леня громко плакал, стоя в строю, кулачком растирал слезы на глазах, и я тоже всплакнула над ним, маленьким и обиженным.

Сначала Леня учился хорошо, его часто спрашивали, ставили хорошие баллы, хвалили. Сказался запас знаний, полученных дома. Но уже к концу первого полугодия это его преимущество исчезло, и Леня перестал выделяться среди сверстников. Его пересадили с первой парты в середину ряда.

Обиду на учительницу и на класс он выплакал у меня на груди.

Я чувствовала, как нелегко будет моему Лене среди людей в жизни, и от этого еще больше любила и жалела его. Помню, в четвертом классе произошел случай с барабаном. Детей приняли в пионеры. Надели на них яркие красные галстуки, принесли в класс горн и барабан и долго искали, кто же сможет идти по улице во главе нового пионерского отряда, отстукивая марш на барабане. Учительница мне потом рассказывала, что Леню тоже пробовали на роль барабанщика, но ничего не получилось, он не чувствовал ритма и все время сбивался.

Барабанщик, конечно, нашелся. А после первого торжественного марша по улице Леня тайком напал на барабанщика и избил его.

Меня вызывали в школу, а что я могла сказать в свое оправдание?

Я уже видела, что характер Лени развивается странным образом, пыталась даже наказывать его, но ничего, кроме наших общих слез с Леной и объятий, за этим не следовало.

В сердцах я даже сказала учительнице, что могли бы и дать моему мальчику пройти с барабаном во главе отряда, раз он так этого хочет. Учительница тоже вспыхнула: как же я, педагог, рассуждаю так антипедагогично? Коллективизм поконится на разумном чувстве справедливости: барабан дали тому, кто этого достоин, кто лучше всех умеет стучать на нем, в конце концов. Поощрять же необоснованные претензии человека к коллективу — значит развивать индивидуализм и эгоизм, что в принципе противоречит новой советской педагогике.

Тогда, злясь от жалости к Лене, я сказала, что новая педагогика против насилия, а что, как не насилие, совершено над маленьким человеком?

Словом, у нас завязался спор, в котором мы обе увязли, очевидно потому, что были слабо, как говорится, подкованы в теории, а перед моими глазами стоял злой и сумрачный Леня, и я не знала, как примирить его со сверстниками, с коллективом новых, незнакомых мне людей, в котором предстояло жить моему сыну.

Обо всем этом я говорила с отцом. Он стал совсем старый, последний год дотягивал до пенсии, был какой-то равнодушный и замкнутый.

— Я боюсь, Елена, — сказал он, — что твой сын унаследовал от отца то, что тебя так волнует.

— А от нас он что-нибудь взял? Неужели нашего у него ничего нет?..

— Не знаю, Елена, не знаю... Об этом надо думать...

Отец вдруг грустно посмотрел на меня, протянул руку и ласково потрепал меня по щеке.

— Вот ты, дочка, почти полжизни прожила, как говорится, «за отцом». Была ли ты счастлива, моя тихоня? Может быть, только один год, когда любила Бориса?..

Мне не хотелось думать о себе, я просто не могла уже думать о своей жизни, о своей судьбе; это стало со мной, когда родился Ленья, и всю жизнь было так.

А отец говорил о чем-то своем, что я не желала слушать и не могла понять.

— Он взял от нас наше равнодушие к людям, нашу сословную замкнутость, а жить ему в обществе, основывающемся на принципах коллективизма. Я еще не понял до конца, что это такое... но это... в принципе... другой способ сосуществования личностей... Ты понимаешь? А от отца у него в крови бесчестлюбия... Понимаешь, какое сочетание, а? И изящества нашего дворянского, пусть мелкопоместного, но все же... культуры в нем маловато... бурбонства больше.

— Не время рассуждать сейчас, папа. Что-то ты говоришь такое, слишком непонятное. Я прошу тебя, помоги мне. Ты же мудрый... добрый... Будь с ним побольше, отвлеки его, смягчи его сердце...

Отец с тех пор стал еще больше заниматься с внуком, но это плохо помогало. И наконец в восьмом классе произошла эта дикая история, после которой я пришла в полное отчаяние.

В школе организовали любительскую драматическую труппу. Ленья стал ходить туда и, кажется, увлекся. Ему уже было шестнадцать лет. Он был выше среднего роста, хорошо сложен, на верхней губе про-

бывался темный пушок. Лицо его было худощавое, с бледностью, большой лоб, нос с горбинкой. Волосы, как у отца, черные и длинные. Для девичьего взгляда юноша он привлекательный, с «интересной, загадочной бледностью», как говорили в наше время девочки-гимназистки о модных поэтах-декадентах. Он был начитан, умел говорить и судить уверенно, музицировал на рояле, — наше домашнее воспитание не прошло даром.

В последнее время он стал внешне спокоен, и его, кажется, уже не волновало и то, что он далеко не первый в классе и по учебе и в других школьных делах.

В драмкружке ему, кажется, повезло. Он сыграл роль Хлестакова в «Ревизоре» и пользовался успехом. Может быть, у него обнаружились артистические способности? Я была счастлива за Леню. Наконец-то возникла отдушина, где он может удовлетворить свое честолюбие, найти себя. Надо сказать, что в противоположность деду я не осуждала Леню за это качество его характера. Я только боялась крайностей, потому что, проявляя их, он каждый раз жестоко наказывался коллективом и страдал. А тут он впервые был счастлив без помех со стороны сверстников и даже стал дружить с одним юношей из своего класса и девушкой из соседней школы. Они часто собирались в комнате у Лени, сидели там спокойно и о чем-то разговаривали.

Как-то я, постучав, тут же открыла дверь в комнату сына и увидела, что Леня стоит подле Кати — так звали девушку — на коленях, прижав руки к груди.

Я очень удивилась. Леня встал, и они долго хохотали над моим недоумением. Оказывается, они репетировали сцену из пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», которую предполагалось поставить на школьной сцене. Роли еще не были распределены, но Леня был уверен, что Ромео будет играть он. Новые друзья сына тоже были уверены в этом и говорили убежденно, что Леня будет великим артистом, что у него несомненный

дар перевоплощения. Надо было видеть моего уже почти взрослого сына в эту минуту. Румянец на щеках, глаза возбужденно блестят, высокий бледный лоб, — артист. Катя — а я в особенности — любовалась им, и сердце мое замирало, боясь спугнуть эту минуту, в которую мой сын жил полной жизнью и был безраздельно счастлив.

А мне было достаточно его счастья, чтобы мое счастье было просто безмерным. Сколько слез я пролила вместе с ним, когда вновь и вновь он оставался в тени: и в хоре, где ему не удалось стать запевалой, и в конкурсе детского рисунка — его акварели жюри упомянуло в числе прочих, и в концерте художественной самодеятельности, в котором Леня играл на рояле «Неаполитанский вальс» Чайковского, а первый диплом дали снова другому...

Дед посмеивался над нашими с Леней слезами и говорил:

— Вот это да! Вот дают прикурить нашему вундеркинду... Ничего! Чем больше шишек он получит сейчас от строптивного коллектива, тем легче будет потом...

Если бы его слова оказались правдой!..

Настал вечер распределения ролей. Я так волновалась, что хорошо запомнила его: был конец марта тысяча девятьсот тридцать шестого года.

Леня тщательно оделся. На нем был ладный темно-синий бостоновый костюм, ослепительно белая рубашка, широкий галстук в полоску со свободно завязанным узлом. Вдохновённый и бледный, он уже был похож на Ромео, и другого на эту роль предпочесть было невозможно. Он быстро шел вверх по улице, хрустя ботинками по замерзшему к вечеру снегу. На углу его ждала Катя, взяла под руку, и они пошли вместе.

Солнце садилось, его уже чуть теплые лучи били в глаза и мешали мне смотреть им вслед.

Вернулись они довольно скоро. Сначала ворвался

Леня с черным лицом, не раздеваясь и ни на кого не глядя, пробежал в свою комнату и заперся там. Сердце мое сжалось. Потом тихо вошла расстроенная и обиженная Катя. Мы сняли с нее пальто, усадили за стол, стали пить чаем и выпрашивать.

Роль Ромео поручили другому. Катя говорила, что Леня выслушал это известие спокойно, все время молчал, ни слова не сказал, только был бледнее обычного. Взял тетрадку с ролью Тибальда, порученной ему, и ушел.

Я сказала Кате, чтобы она оставалась пока у нас, только ей удастся как-то утешить Леню. Мы долго стучали в дверь его комнаты, наконец он открыл ее и впустил к себе Катю. Ушла она от него часа через два, кажется, успокоенная. И Леня был внешне спокоен, но я-то чувствовала, что творится в душе его, и решила поговорить с руководителем школьной драматической труппы. Это был известный в городе артист Васильев. Мы всей семьей не однажды ходили на спектакли с его участием. Особенно он был хорош в «Отелло». Театралы говорили, что его Отелло — один из лучших в стране.

Я нашла его в театре и рассказала ему о Лене и обо всем, что меня так волновало и мучило.

Васильев послушал и сказал, чтобы я пришла на генеральную репетицию. Я пришла и села в задних креслах школьного актового зала так, чтобы Леня меня не видел.

С особенным чувством следила я за юношей в роли Ромео. Костюмы еще не были готовы, и ребята играли в повседневной одежде. Ромео был небольшой крепыш, курносый и русоволосый, в черных сатиновых шароварах, в белой маечке-безрукавке, с эмблемой спортивного общества «Спартак» на груди.

Перед началом репетиции он все ходил на руках по сцене и громко пел: «Не спи, вставай, кудрявая... Страна встает со славою...»

Васильев начал репетицию. Первое появление на сцене Ромео я как-то просмотрела, но он сам привлек мое внимание.

Что я могла думать о нем, этом типичном юноше тридцатых годов, перешедшем дорогу моему Лене? Следя за каждым его жестом, вслушиваясь в каждое слово его роли, я все время сравнивала его с Леней... и вдруг поймала себя на том, что я не сравниваю уже несколько минут, а просто слежу за юностью в поре первой любви. Что-то было в этом крепыше, что делало его в эти минуты прекрасным. Была искренность, природная грация и чутье к поэтическому слову. Он казался стройней и выше, и теперь, сравнивая его с Леней, я с болью в сердце вспоминала заученность Лениных жестов и декламационность, поставленность его голоса.

После первого акта Васильев подошел ко мне. Он заметил, что я все поняла и сижу убитая.

— Ну вот, — сказал он, — кажется, вам все ясно. Я рад, что избавлен от неприятного разговора. А сказать я могу лишь одно: этот парень — талант. От бога. Я взялся руководить из-за него. Если он не начудит что-нибудь, я сделаю из него большого артиста...

И он заговорил увлеченно и страстно. Я слушала его, поддакивала и чуть не плакала: о Лене он даже не вспомнил. Значит, все. И эта отдушина закрылась. Что же будет с Леней, когда он узнает всю правду?..

— ...Вы понимаете, — говорил Васильев, — да ради только того, чтобы такие парни из народа выходили на сцену, стоило совершать Октябрьскую революцию. А ведь это только первая волна, первое поколение родившихся после революции... А что же будет потом, а?..

Я вежливо дослушала Васильева до конца и незаметно ушла.

Настал день премьеры. Я пошла в школу, мучимая

дурными предчувствиями. Зал был полон школьниками и родителями. Все были празднично одеты. Аплодисментами встретили Васильева, секретаря райкома комсомола и директора школы. У входных дверей толпились девочки с цветами.

Рядом со мной сидела Катя. Она показала мне родителей Ромео. Моих лет мужчина и женщина. Он — типичный фабричный мастерской в пиджачке и темной косоворотке, она — в цветной блузке с оборками и широкой юбке. Сидят, напряженно выпрямившись, положив большие руки на колени, волнуются.

Я позавидовала им. Их сыну предназначены цветы... Спектакль шел хорошо, было много аплодисментов. Ромео восхищал всех.

Началась сцена поединка Ромео с Тибальдом. Леня был так бледен, что я, забыв было о нем, заволновалась. Ярость, с которой он фехтовал, была неподдельной.

Леня загнал удивленного Ромео в угол и бил уже шпагой наотмашь. А шпаги были спортивные, они звенели на весь зал. Ромео едва успевал отбиваться от натиска Лени.

Все ждали, когда Ромео наконец заколет Тибальда, но Леня гонял растерянного Ромео по сцене, и все видели его злобу и решимость, совсем не театральную.

Васильев привстал с места и что-то крикнул. Но Леня не обращал внимания. Зал волновался, назревал скандал. Я обмерла от страха, потому что видела глаза Лени. Они были белыми от бешенства.

Леня сделал сильный выпад и ткнул шпагой Ромео в живот. Он застонал и согнулся от боли. Леня ткнул его шпагой еще раз, еще... Потом ударил его Ромео по спине и крикнул, повернувшись в зал:

— Надо переписать Шекспира! Тибальд — герой пьесы, а не этот жалкий дамский угодник!.. Плебей!.. Выскочка!.. — и, бросив шпагу, убежал со сцены.

Занавес закрыли. Васильев ринулся на сцену. Тогда же с шутливым возгласом: «Что за классовые бои в школе?!» — пошел и секретарь райкома комсомола.

В зале начался переполох. Спектакль был сорван. Это было ужасно.

Все смотрели на меня с осуждением и недоумением.

Мать Ромео плакала. Отец, сжав кулаки, тоже пошел на сцену. Я не могла больше быть в зале. Я ушла, я бежала по проходу, закрыв глаза от ужаса и стыда...

Ромео с кровоизлиянием в область брюшины лежал в больнице. На комсомольском собрании обнаружилась давнишняя ненависть школьного коллектива к Лене, его называли классовым врагом и хотели исключить из комсомола, и только секретарь райкома и артист Васильев заступились за него, объяснив ребятам психологические причины его дикого поступка и особенности Лениного характера.

Лене объявили строгий выговор с занесением в учетную карточку. Я долго говорила с директором школы, и мы решили, что будет лучше перевести Леню в другую школу.

Друзья Ромео побили Леню, и ему пришлось несколько дней просидеть дома, сводя бодягой большой синяк под глазом.

После этого характер Лени круто переменялся. Я не знаю, куда он спрятал свое честолубие, но он стал замкнут и равнодушен. И остался совсем один. Катя к нему больше не приходила. Мои ласки и утешения он с раздражением отвергал, а когда я принималась плакать, он злился и уходил из дома.

Он даже внешне как-то опустил плечи. Одеваться стал небрежно, много стал есть, пополнел, в новой школе учился уже откровенно на тройки и стал ходить в какой-то дом через улицу, где допоздна играл в карты.

И наконец случилось то, чего я больше всего боялась: однажды — это было уже в девятом классе —

он пришел утром совсем пьяный, в грязной одежде, наверное, где-то падал.

— Господи, Леня! Что же это такое?! — заплакала я.

Леня, шатаясь, походил по комнате, сел за рояль и стал барабанить на нем «чижика-пыжика»: «Чижик-пыжик, где ты был? На Фонтанке водку пил...» А, как, мама?! — кричал он.

Потом прошел в свою комнату, собрал все свои бумаги — акварели, ноты, тетрадки с ролями — и выкинул все это в окно.

— Вот так, мама, — кричал он. — С вундеркиндом покончено. Мы пойдем другим путем, мама, а? — хохотал он. — В жизни ведь всегда есть место подвигу, мама, а? Вот я и совершил подвиг.

— Какой подвиг? — в ужасе закричала я.

— Ты, мама, только не проболтайся...

— Как ты говоришь со мной?!

— Да брось, мама, расстанься наконец со своими дворянскими замашками... Кому нужна твоя интеллигентность, воспитание и прочие фигли-мигли, как говорит мой друг Вася...

— Какой еще Вася?

— Вася?.. Рабочий, пролетарская косточка... Люмпен... Плечи, руки... Голова светлая. Кровельщик он, мама, жестянщик... Крыши кроет. А живет просто, без затей... Работа — получка — украл — загнал — водочка — девочки... ого!.. все просто... Тсс, мама, тише, враг подслушивает! Вчера мы с Васей унесли со стройки листовое железо, десять радиаторов и загнали все это одному дяде...

— Ох, боже мой, Леня, что ты такое говоришь? Тебя посадят в тюрьму!..

— Я же говорю, мама, если ты не проболтаешься, никто не узнает. А Вася знает, что, где, когда и сколько. Кому на лапу дать...

Я, обессилев, закрыла лицо руками, села на диван и заплакала.

— Да пощади ты меня, Леня!..

А Леня продолжал:

— Еще, мама, поздравь меня. Сегодня ночью я стал наконец мужчиной. Меня любила фартовая девочка. Происхождение — во! Отец в тюрьме, мать алкоголичка... Да не падай ты в обморок!.. Не так уж страшно все это. Напротив, весело, аж дух захватывает. А они все меня уважают... Эй ты, интеллигент, говорят, сбегай-ка за водкой.

— А-а-а-а... — закричала я и упала перед Ленею на колени. — Ленечка! Сыночек! Ты же погибнешь, пропадешь! Как тебя спасти?.. Господи, помоги мне найти слова, чтобы сын мой исцелился... Как тебя спасти, Леня? Тебе нужны деньги? Я тебе дам, у меня есть... Мы продадим все... Уедем куда-нибудь... Дед отдаст тебе все... Леня, только учись... Будешь работать... Женишься... Внук у меня будет... Я все для тебя... все сделаю...

Я рыдала, обхватив ноги сына. И вдруг я почувствовала сильный удар коленом в грудь и опрокинулась на пол. Сквозь слезы в глазах, лежа на полу навзничь, я видела склонившееся надо мной искаженное злобой лицо сына.

— Не надо меня спасать, мама... Я не хочу жениться... Я не хочу служить, я не хочу, как все, как волю... Я хочу свободы... один хочу... один... Ты понимаешь это своим умишком, мама? Школа, все они... эти... не дают мне быть одному... А у Васьки я один и свободен... Мне весело так... понимаешь? Короче, школу я бросаю, иду работать... вкалывать... Васька уже нашел, как он говорит, работу непыльную по торговой части, каким-то учетчиком, чтобы можно было в меру приворовывать... Встань, мама, что же ты так... Прости меня...

Выпей валерьянки... вот так. У меня же незаконченное среднее образование, девять классов!

Я слегла в тот день и долго болела. Леня ухаживал за мной, был заботлив. О том, что произошло, мы не говорили больше. Дед тоже лежал в больнице за городом, он был совсем плох. Мама устроилась около него сиделкой. Леня навещал стариков, возил им еду и цветы, был спокоен, весел.

Где он работал, я так и не знала толком. Деньги он мне давал каждый месяц, рублей по восемьсот. С меня почти ничего не требовал, только просил, если что останется от его денег, откладывать и беречь их для него.

Своих новых друзей в дом он не водил, и жизнь его была мне неизвестна.

В сороковом году отец мой умер. Леня много хлопотал о похоронах и сам устроил деду поминки. Был тот самый Вася. Немного развязный, но спокойный парень. Была девушка. Модно одетая, держалась напряженно, тихо.

Посидев на поминках полчаса, Леня и его друзья ушли, оставив меня одну за поминальным столом. Пить и есть было некому, и никто не говорил об отце положенные хорошие слова. Один его друг-сослуживец лежал в больнице, другой умер еще раньше.

Совсем плоха стала и мама. Я долго сидела в тот вечер одна за столом, выпила две рюмки вина, запьянела немного и чувствовала себя такой беспросветной сиротой, что мне не хотелось жить больше. Мне было тогда сорок лет. Я вспоминала свою жизнь, свое безмятежное детство, нашу дачу за городом, темный шумящий лес, жаркое солнце над глубокой и чистой речкой, молодого сильного отца, маму за роялем, вечерний чай на веранде... И я, маленькая девочка, сладко засыпаю в кресле и слышу, как папа, щекоча усами, целует меня в ухо, берет на руки, шепчет: «Спи, крошечка, спи, Еленушка, спи, девочка», — и несет меня в кровать.

В окно моей маленькой комнаты тянет мохнатую лапу столетняя ель, и где-то далеко, в темной мгле, в огромном лесу что-то мощно дышит и веет прохладой. «У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом...» — нараспев читает любимые стихи папа, перебирая мои волосы, разбросанные по подушке, и я окончательно засыпаю...

Так зачем же все это невыразимо прекрасное со мной было? Зачем я рождалась и росла, счастливая, чтобы так страдать потом?..

Началась война с Гитлером. Лене шел к этому времени двадцать первый год, возраст его был призывной, и повестку мы получили в первые дни войны.

Я хорошо помню, как постучали в калитку с улицы, вечером. Леня вышел из своей комнаты, сказав: «Ну вот, мама, кажется, это за мной!» Спустился вниз, открыл калитку — я наблюдала за ним в окно, — взял повестку, расписался. Долго стоял, не закрывая за рассыльным калитку, она поскрипывала, раскачиваясь под ветром, шумел наш сад во дворе, длинные волосы Лени путал ветер. Потом он поднялся наверх, подошел ко мне, оцепеневшей на диване, показал повестку.

— Собрай сыночка на войну, мама, — сказал он, улыбаясь. — Понадобился я им. Эгоист и всякий там элемент, а нужен... И только не реви, пожалуйста. Москва слезам не верит, слышишь? Кому нужны твои слезы?.. Им нужен твой сын... И меня не спросили, хочу ли я воевать. Для них прямо праздник какой-то... Видел Ромео и других, в военкомат бегут сами, веселые, счастливые... Фанатики!..

Я все-таки заплакала и стала собирать Лене рюкзак. Я положила туда теплое белье, свитер, рубашки, теплые носки, несколько пар, еще кое-что, стала жарить пирожки, слазила в погреб за салом. Леня лежал пластом на диване, а я делала дела и плакала.



Утром я пошла с Лене́й на сборный пункт. Сколько там было народу! Молодые люди были возбуждены, обнявшись группами, пели. Сбились в кучу провожавшие их девушки. Матери плакали. Стала и я подле них и плакала вместе со всеми. Ребят построили. Вышел военный и сказал речь. Заиграл оркестр. И строй двинулся к вокзалу. Ребята шли по проспекту Революции, все в белых рубашках, с рюкзаками и котомками за спиной, пели строевую песню. Я бежала вместе со всеми по тротуару. То видела Леню в строю, то теряла его из виду.

Он шел в пятом ряду, вторым от края. Лицо его было нахмурено, и весь облик его был не таким, как у всех, энергично и решительно марширующих, — Ленья горбился, шел вольно, не попадая в ритм общего движения.

Эшелон для призывников стоял где-то далеко, нас, провожающих, за ограду перрона не пустили, мы огромной толпой стояли у ворот, а по проходу шли строем ребята. Со стоном звенел оркестр, матери и девушки в последний раз цеплялись за сыновей и любимых.

— Ленья-а-а-а! — кричала я, изо всех сил пробиваясь к проходу. Ленья обернулся на мой крик, все-таки он услышал его в гуле и реве толпы, обернулся и искал меня глазами, и сердце мое зашлось: он все-таки услышал мой материнский вопль, и обернулся, и хотел увидеть меня!.. Глаза его были растерянные и тоскливые.

Он исчез за воротами, и больше я его не видела никогда...»

Глава одиннадцатая

— Дядь Сережа, а как мы поймаем их?..

— Что?! — не сразу услышал меня Сергей Иванович, так сильно он задумался.

— Как, говорю, мы сможем поймать их?

— А-а-а... — Сергей Иванович снял руку с моего плеча и пошел быстрее. Четко, как будто командуя, он сказал: — Витя, я сейчас пообещал Елене Тихоновне, что никто и никогда не узнает, что Тэкс — ее сын. Ты понял меня? Я пообещал!

— Я никому не скажу, — ответил я.

— Ну, вот и правильно! Ты уже взрослый и должен понимать: горе ее будет с ней до конца жизни, а жить ей надо как-то, работать, вас учить истории... Ты пойми, сынок, она — мать.

— Да понял я!

— Ну и ладно...

— А как мы поймаем их?

— Вот об этом надо думать... Только ты никому ни гугу! И не вздумай со своими шкетами лезть в это дело. Мы его сами провернем.

— Кто — вы?..

— Кто?! Коммунисты, чекисты, милиционеры... Есть же власть у нас, есть люди, хоть мало нас, но есть, банду ликвидировать — сил хватит!

— А мы что? Помочь вам разве нельзя? Мы же скоро комсомольцами станем, что же мы, ни на что не годны?..

Сергей Иванович засмеялся, обнял и прижал меня к себе.

— Ах вы, герои! Поможете, и еще как! Ваша боевая задача на ближайший оперативный отрезок времени — следить, не появится ли Кот или еще кто-нибудь подозрительный на нашем участке, понял?.. И действовать так, как ты сегодня действовал: один — продолжает тайное наблюдение за бандитом, другой — пулей ко мне. И опять же: доверь это опасное дело двум-трем самым надежным ребятам.

— Ванька Сизарь, Мишка Зверев, Седой... и Таня поможет, — озабоченно затараторил я.

— Ну тебе лучше знать. Теперь в школу и из шко-

лы ходите вместе, разбейтесь по парам. И не просто гуляйте после уроков и не возле дома, а гуляйте, захватив как можно больший район под неусыпное наблюдение.

— Мы с Таней... — Я смутился, заметив, что Сергей Иванович улыбнулся. — Да она девчонка надежная и толковая, вы не думайте... И Мишка с Ванькой... Те будут гулять от дома до клуба Осипенко, а мы с Таней...

Сергей Иванович снова улыбнулся.

— Да ничего я не думаю... Таня — девочка смелая.

— А мы с Таней — от дома, через стадион, по Ленинградской — до школы.

— Правильно, — серьезно сказал Сергей Иванович. — Сектор наблюдения получается приличный...

Тут мы вышли на Ленинградскую улицу. Сергей Иванович пошел в райком партии, а я помчался к Сизарю. Я бежал и подпрыгивал от нетерпения.

Я же не сказал Сергею Ивановичу одной важной вещи, которую мы с Сизарем знали только двое... Зажигалки! Немецкие зажигалки, которые мы выменивали у пленных немцев и которые Сизарь по заданию бандитов скупал у нас для них. Они хотели прикуривать от фасонистых зажигалок, прикуривать с шиком... Ну, так прикурите, гады! Мы с Сизарем такую засаду устроим у него, что Сергей Иванович ахнет! Придет же Кот за зажигалками?! Придет или пришлет кого-нибудь, а Сизарь что им скажет? Сразу так и выложит им зажигалки? Дудки! Он им скажет: приходите, мол, завтра, мне как раз обещались пацаны продать пяток новеньких немецких зажигалок. И они придут! А тут...

У меня аж дух захватывало от предчувствия скорой и легкой победы над бандитами.

«Руки вверх!» — громовым голосом закричу я, выскочив из засады с автоматом наперевес. Дадут нам оружие, обязательно дадут ради такого случая!

А следом за мной — и Сергей Иванович, и милиционеры... И мы поведем бандитов по улице, и все будут видеть, что я и Ванька идем впереди с автоматами...

...Сизарь стоял на коленях возле железной печки с круглой трубой, уходящей в потолок их маленького домика, бывшего дровяного сарайчика, ютящегося во дворе бани, в которой дядька Сизаря подрабатывал в должности сменного истопника. Он и в школе нашей работал ночным сторожем, и в бане, и пить успевал, но деньги, зарплату всю, отдавал Сизарю, а пил «на дармовщинку» или вовсе клянчил мелочь.

Сейчас он, «потухнув», как говорил в таких случаях о себе он сам, бурно храпел в своем углу на чисто и аккуратно прибранной железной кровати.

Совсем не похоже было, что это дом инвалида с двумя девочками на руках. Стараниями и сноровкой осиротевшего племянника Вани дом безногого инвалида войны содержался в чистоте и порядке.

Вот и сейчас в доме было чисто, сухо, тепло и уютно. Девочки, четырехлетняя Машенька и трехлетняя Катенька, причесанные, с красными тряпочками в косичках, с укутанными горлышками, худенькие, но спокойные, тепло укрытые лоскутным ватным одеялом, тихо возились с тряпичной куклой на широком диване — единственной вещи, оставшейся в доме от довоенных времен. Все остальное: стол обеденный, стоящий посередине комнаты и застеленный чистой клеенкой, стол кухонный, полки для посуды, вешалка для одежды, массивная, с большим количеством штырей, табуретки и другая обиходная мелочь, — все это было сделано дядей Кузьмой с помощью Вани.

Сейчас Сизарь стоял на коленях у буржуйки, подкладывая дрова в ее гудящее нутро.

Когда я, торопясь и захлебываясь словами, прошептал ему на ухо свою героическую идею, Сизарь повернул ко мне горячее от огня лицо, глаза его, густо опу-

шенные рыжими ресницами, сверкнули восторгом и удалью, и он, хлопнув меня по плечу, сказал:

— Молодец, Витька! Вот это да!.. Век свободы не видать, нам именнные часы подарят, во часики!.. Или деньгами дадут, а может, продуктами отоварят, а?.. — совсем размечтался Сизарь.

Вот это я больше всего не любил в нем. Разозлился я на него.

— Ну что ты все про деньги да про часы?! Барыгаты, Сизарь, вот кто! Разве подвиг совершают из-за денег? Всегда ты такой! И зажигалками этими спекулируешь, табуретки продаешь, все меняешь, вымениваешь!..

С дивана донеслось тоненькое и писклявое:

— Ванечка-а-а! Пись-пись!..

Сизарь пошел к дивану, взял на руки Машеньку, отнес ее к печке и посадил на горшок.

— И я тоже пись-пись! — захныкала Катенька.

— Погоди пока. Сначала Машенька, потом тебя посажу... Сейчас молочка вскипачу вам, попьете горяченького, лекарства съедите — и спать чтоб. Хватит, устал я с вами за весь день, — пробурчал Сизарь.

Он снял с горшка Машеньку, усадил на него Катеньку, потом напоил их молоком с хлебом, дал им лекарства, положил между ними куклу, укрыл их одеялом и подоткнул его со всех сторон, вынес во двор горшок, вымыл его над помойным ведром, поставил у печки.

— Молоко кончилось, — грустно сказал он. — Дядька зарплату в школе через неделю получит, а у меня десятка осталась. Вот и крутись тут... Ладно, я и за так все сделаю. Придет кто, я так и скажу: являйтесь завтра, будут вам зажигалки. И — к Сергею Ивановичу!..

Сизарь возился у печки с двумя чугунами. В одном варилась картошка, в другом — пшенная каша.

Она так вкусно пахла, что я сглотнул, покосившись на печку.

— Зачем же к Сергею Ивановичу?! Ну что ты, ничего не понял, что ли? Ты сразу ко мне беги. А потом мы приступим к нему и скажем наше условие: раз мы организовали операцию, то мы и должны в ней участвовать, и нам надо автоматы дать, а иначе... Понял?

— А что — иначе? — Сизарь достал с полки кусок жмыха, разбил его пополам о край стола, дал половину мне и сел рядом со мной. — А что иначе?..

Действительно, что мы можем сделать, если — иначе? Мы грызли жмых и молчали.

— Не дадут нам оружие ни в коем разе, — спокойно сказал Сизарь. — И близко не подпустят сюда... когда тут заваруха будет! И не мечтай, и не надейся, понял? Дать картошечку?..

— Дай, — сказал я.

Сизарь взял из чугунка и положил в железную тарелку две дымящиеся картофелины в мундирах, поставил на стол плоску с солью, поколебавшись немного, отрезал от полбуханки по маленькому кусочку хлеба. Хлеб я решительно отодвинул от себя, и Сизарь не стал спорить со мной.

И мы стали есть картошку. Было очень вкусно. Я проголодался за весь день и ел с удовольствием.

— Пшенки девчонкам дня на три хватит. Дядька где-то раздобыл. Пьет, а о девчонках не забывает, — сказал Сизарь.

Я кивнул головой.

За единственным маленьким окошком в доме Сизаря стало темно. Мы ели молча и сосредоточенно, серьезно, так, как всегда ели мы в те годы.

Поели. Сизарь тут же убрал со стола картофельные очистки, хлебные крошки подгреб к себе в ладонь и бросил их в рот.

— Покурим! — сказал Сизарь и достал из кармана пачку «Беломора».

— Да ну еще... А ты чего, по-настоящему куришь, что ли?

— Я не затягиваюсь! — ухмыльнулся Сизарь и с явным удовольствием глубоко вдохнул в себя папиросный дым и выпустил его тонкой длинной струйкой из рта, а потом стал выталкивать из себя одно за другим клубящиеся кольца.

— Во! — удивился я.

— Хочешь научу? — сказал Иван.

— Да ну тебя! Я матери пообещался не курить и не буду!

— Вольному воля... Да, чего задали сегодня, много, а?

Я сказал Сизарю, какие уроки нам сегодня задали, он отметил параграфы в своих учебниках.

— Спать хочется! А мне еще дров на завтра нарубить, уроки учить, за хлебом в очередь в пять часов бежать, — озабоченно сказал Иван и попросил меня: — Вить, ты поговори с матерью, может, она мне займет завтра пол-литра молока, я с зарплаты отдам, я зайду завтра, ладно?

— Если есть, займет. Заходи, чего-нибудь даст еще. Пойду я... О деле помни! Как придут — мигом ко мне. А потом вместе — к Сергею Ивановичу. И не вздумай заикаться о часах... о деньгах...

— Да брось ты! Я пошутил, а он... Что я, рыжий, что ли? — грустно улыбнулся Сизарь своей дежурной шутке, потому что рыжей его в классе никого не было.

— Ты и есть рыжий... рыжий, конопатый! — дружески и ласково сказал я Сизарю. — Ну, держи пять. До завтра!

Я вышел из домика Сизаря в ночь. Мороз усилился. Небо было усыпано звездами. Дымчатый контур

Млечного Пути мерцал в бездонной тьме над головой. Ветер, казалось, улегся отдыхать в обледеневших коробках и развалинах, мрачными громадами обступающих меня со всех сторон, но они не пугали меня, а будили фантазию. Вот этот, например, причудливо скотлотый угол дома напоминал в профиль, вместе с нависшим сверху полуобвалившимся карнизом, длинную, выступающую из темноты фигуру Дон-Кихота Ламанчского с опущенным забралом. Вообразить себе Росинанта и длинное, наперевес копые рыцаря печального образа, нацеленное на большой тополь, в страхе заломивший голые ветки на противоположной стороне улицы, не стоило особых усилий. А вот в этом пустом оконном проеме несколько звезд, сияя, расположились так, что отчетливо обозначились черты человеческого лица, добродушно и лукаво мне подмигивающего. Ну, а эта стена обрушилась когда-то от взрыва бомбы или снаряда и теперь напоминала скачущего всадника с коробки папирос «Казбек»...

Все это мертво и неподвижно жило и перемещалось вокруг меня, неожиданно возникая из тьмы, освещенной лишь далеким светом звезд и мерцанием снега, плавно исчезало через несколько шагов и снова становилось грудой красных камней.

Под крыльцом следующего дома куча камней, засыпанных снегом, напоминала сидящую белую собаку. Мне показалось, что она смотрит на меня, поворачивая вслед за мной морду.

Потом мне показалось, что она встала на все четыре лапы и завиляла хвостом. Потом я понял, что это уже мне не кажется, что это знакомая мне большая белая собака трусит мне навстречу. Она подбежала ко мне, ткнулась мордой в мои колени, тихо заскулила, села на задние лапы и смотрела на меня.

— Собака?! Пси́на... Откуда ты взялась?! — удивился я и обрадовался. — Вот Таня обрадуется и Ка-

змир Павлович, — говорил я собаке, обняв ее за шею. — Ах ты, собака... Пойдем со мной...

Большая белая собака охотно шла за мной до самого дома. У подъезда она вновь села на задние лапы, и никакие уговоры и усилия не заставили ее сдвинуться с места. Когда же я снял брючный ремень и попытался набросить его на шею большой белой собаке, она тяжело прыгнула от меня, рыкнув и зло ощерившись.

— Ну что ты, собака, — уговаривал я ее, несколько испуганный той дикой силой, что почудилась мне в ее резком прыжке и хищном оскале. — Пойдем, будешь жить у Тани, мы тебя будем кормить, постель у тебя будет, ну, чего ты... собака...

Я говорил так, а сам боялся подойти ближе к большой белой собаке. Она сидела неподвижно, смотрела на меня, не мигая, склонив голову набок, и мне казалось, что смутные образы и мрачные тени таинственной и глухой ночной жизни развалин столпились в темноте и рассматривают меня сейчас вместе с нею.

— Ну подожди, собака, посиди пока, — сказал я торопливо. — Я сейчас сбегаяю за Таней и Казимиром Павловичем, и мы тебя все вместе уговорим. Сиди так...

Захлопнув за собой дверь подъезда, я взбежал на третий этаж и постучал в Танину квартиру. К моему удивлению, дверь открыл Семен Яковлевич, наш учитель литературы и русского языка. Он был в своем неизменном костюмчике, на шее его, худой, щетинистой и дряблой, был намотан шарф.

— Струков?! — тоже удивился Семен Яковлевич. — Здравствуй, Струков. Ты к кому?

— Здравствуйте, Семен Яковлевич! Я к Тане. Она дома?

— Таня-то дома... Да ты проходи, раздевайся... Таня-то дома, — говорил Семен Яковлевич грустным ше-

потом, помогая мне снять пальто. — Да вот беда у нас вышла. Папа ее тяжело заболел. В больницу мы его отправили.

— Казимир Павлович?! А что у него заболело?

— Сердце сильно у него болит... Очень он тоскует о маме Таниной. Ты ведь знаешь о ней?

— Знаю, Семен Яковлевич! А Таня как?

— Плачет девочка. Одна осталась. И папу очень жалеет. Я вот решил пока пожить с Таней. Чего мне, одинокому, еще делать? Конурка моя никуда не денется, хозяйка за ней присмотрит, а я пока с Таней побуду... Может быть, все и обойдется... Проходи... только тихо... Таня, кажется, задремала.

Семен Яковлевич под руку провел меня в комнату. Таня лежала на кушетке, укрытая одеялом, свернувшись калачиком и подсунув ладошку под щеку. Она спала. Лицо ее было измученно и бледно.

— Хочешь чаю? — спросил Семен Яковлевич.

— Нет, я сыт...

— Ну, так уж и сыт... Будем пить чай вместе.

Мы потихоньку пили чай, Семен Яковлевич печально и глухо шептал, рассказывая:

— Я тоже узнал про библиотеку Пеньковских. Решил навязаться в знакомые, моя вся пропала в эвакуации. Пришел, представился. Казимир Павлович любезно меня встретил. Познакомились, разговорились... Танин папа — очень милый и интеллигентный человек. Он сразу понял мои деликатные намеки, мол, такие богатства духовные нельзя держать втуне... Надо, мол, вашу библиотеку включить в систему образования наших детей, говорю я ему нахально. А он смутился, даже покраснел, извиняется: как это я раньше сам не догадался? Непременно, пусть дети приходят, берут книги, Таня будет вместо библиотекаря... Вот видишь, Таня уже и абонементные карточки завела, тридцать штук...

На столе стояла фанерная коробочка, в ней лежала стопка аккуратно нарезанных листочков.

Я старался не смотреть на Таню, но все косил и косил глазом в ее сторону. Она лежала неподвижно и неслышно, брови ее были страдальчески сдвинуты, и тени набегали на ее лицо.

— А однажды я зашел к ним после второй смены, — шептал Семен Яковлевич, — уже было достаточно поздно. Дверь была незаперта, потому я вошел без стука. Вижу, Таня сидит на табуреточке в передней, испуганная, бледненькая...

— Что ты, девочка? — спрашиваю я ее.

Она встала с табуретки, подошла ко мне, обняла меня, прижалась ко мне, дрожит...

Из комнаты доносится громкий голос Казимира Павловича.

— Кто это у папы? — спрашиваю.

А Таня молчит.

Приоткрываю дверь в комнату и, ей-богу, похолодел от страха. Казимир Павлович сидит за столом один. Напротив него стоит на столе портрет его жены. Бутылка водки... Представляешь?.. Целая бутылка!.. Казимир Павлович пьет водку и разговаривает с портретом жены. Разговаривает увлеченно, жестикулирует... Таня меня не пустила к отцу, она сказала, что он может сильно испугаться в таком состоянии, что лучше всего подождать, не трогать папу, пока он сам не уснет. Поговорит часа два и засыпает... Вот такие обстоятельства, Струков. Ничего подобного ты не замечал?..

— Нет, не видел... Я как приду, Казимир Павлович всегда веселый, шутит, чаем угощает, о книжках говорит...

— О книжках — это хорошо... Плохо, что такой сильный и умный человек не выдерживает своего горя. Я вот все думаю, как помочь ему, и ничего придумать не могу... Это ужасно, Струков!.. Нынешний сердечный

приступ очень тяжелый... Да и с психикой у Казимира Павловича заметны осложнения...

Семен Яковлевич встал из-за стола, подошел к спящей Тане, смотрел на нее, задумавшись. Я впервые смотрел на нее как на дорогого мне человека, который нуждается в моей помощи и защите от этой беспощадной и злой жизни, обступившей нас со всех сторон. А что я могу сделать сейчас для нее? Ну что?.. Этого я не знал, только чувствовал, что недавние мечты мои о подвиге, об автомате, о захвате банды — все это ерунда по сравнению с живым человеческим горем.

Семен Яковлевич сел подле Тани, поправил одеяло, положил ей руку на лоб, держал так, пока страдальческое выражение не сошло с ее лица. Таня вздохнула глубоко и облегченно и ровно задышала во сне.

— Подойди сюда, Струков, — тихо сказал Семен Яковлевич. Я подошел. — Тебе нравится эта девочка? Ты дружишь с ней?

— Да! — ответил я, не смущаясь.

— Не оставляй ее одну, Струков... Ты понимаешь, о чем я сейчас тебе говорю? Я пока побуду с Таней... пока ее папа не выздоровеет. Боюсь, что это будет долго... Тане нужен друг, преданный друг, он нужен ей именно сейчас. Постарайся быть для нее таким другом.

— При чем здесь «постарайся»?! — обиделся я. — Мне и стараться не нужно. Я и так... ей друг.

— Ну вот и хорошо, Струков. А теперь иди домой, уже поздно, мама твоя очень волнуется... Они были здесь, мама и Сергей Иванович, когда Казимир Павлович упал... заболел... Помогли нам с Таней... Иди... а завтра приходи сразу после школы... Теперь вы будете заниматься с Таней вместе... И не надейтесь на мою помощь и подсказку. Оттого, что с вами будет жить Семен Яковлевич, вам легче не станет...

Я спустился вниз и хотел уже стучать в дверь сво-

ей квартиры, но вспомнил о большой белой собаке. Ждет ли она еще?..

Я открыл дверь подъезда, вышел на улицу. Большой белой собаки на том месте, где я оставил ее, не было. Я постоял немного, вглядываясь в морозную угрюмую тьму, простиравшуюся далеко вокруг меня и моего дома, и ничего не разглядел в ней.

Глава двенадцатая

Была уже настоящая весна. Бурно таяли снега, и мутные ручьи, сверкая под солнцем, весело мчались по улицам. Стаи галок, пронзительно крича, носились над развалинами, парующими под солнцем. Они, эти развалины, день ото дня становились все уродливее, теряя сосульки, обнажаясь из-под наростов льда, снега. Они чернели, неприятный запах тления и мокрой затхлости исходил из их мертвого нутра.

И вот однажды утром я в окно увидел, что вдоль нашей улицы медленно движется черная длинная легковая машина... Толпа мальчишек окружила сверкающую черным лаком машину. А по дороге, прямо по середине ее, по трамвайным путям идет группа людей, солидных людей — это сразу было видно по их пальто, по шапкам, по воротникам, по буркам и сапогам. В центре шел невысокий генерал в светло-серой шинели, в папаше, в бурках. Он заложил руки за спину и щурился. К нему клонился длинный тощий человек в каракулевой шапке, в черном пальто и сапогах. Он держал в правой руке большую раскрытую папку, а левой все расправлял на папке, норовившей сложиться, лист ватмана. И говорил что-то генералу, глазами показывая на отдельные пространства нашей улицы, поскольку руки у него были заняты и никто ему не помогал держать папку и ватман. Все солидно сложили руки за спиной и тоже хмурились, хотя погода бы-

ла прекрасной, и солнышко сияло в небе, и мальчишки возбужденно галдели, осадив великолепную машину.

Я моментально бросил уроки, оделся, выскочил на улицу, пробился сквозь толпу пацанов к машине. Она была прекрасна. Черные, тяжело и тускло посверкивающие линии и формы ее плавно переходили одна в другую. Никелево блистали удлинённые ручки на дверцах, бамперы и буфера. Окошки были приспущены, и из глубины машины тянуло каким-то сверхуютным театральным теплом, виднелась кожа на сиденьях, бархат, зеленовато светились на панели приборы, подрагивали и покачивались их стрелки.

Молоденький шофер в кожаной куртке положил правую руку в перчатке на огромное колесо руля, а левую, согнув в локте, выставил в окошко передней дверцы и снисходительно и добродушно покрикивал на мальчишек, заглядывающих в окна:

— Но, не балуй! Смотри у меня! Руками не трогать!

— Дядь, дядь, гудни-ка, а?.. — просили его пацаны восхищенно, но шофер показывал, сдвинув брови и покачивая головой, что гудеть нельзя.

— Генерал не велел! — говорил он серьезно.

Мальчишки спорили:

— Немецкая машина, фрицевская, в кино видал... Фрицевские генералы на таких ездют, а их партизаны — раз! Гранатой! Бух! И кувыркком! Хенде хох, фюрер СС!

— Пленная машина, это точно!

— Да что вы все понимаете, шкеты! — говорил кто-нибудь повзрослее. — Американская это машина. Рузвельт, президент ихний, товарищу Сталину подарил такую, маршалу Жукову и многим генералам...

— Ну, ты даешь, паря! Американская?! Что у нас, своих машин нету, что ли?..

— Ну, а какая, какая?..

— Да никакая, наша, и все... Гляди вон, все на приборах по-русски написано, вон... вода, бензин, давление, масло...

— Дак это же Америка для нас делала, понял ты, дурья башка?! Что же она, для нас делает, а по-американски писать будет, а?.. Как тогда узнаешь, где чего? Чего включать?.. А они все культурненько по-русски — и наше вам с кисточкой!..

Тут от заднего буфера машины крикнули:

— А вот написано... Что это значит?..

— А это значит, ребята, что машина наша, советская. И сделана она на Московском автозаводе. Понятно?!

Мы и не заметили, споря, как генерал подошел к нам и теперь, все так же заложив руки за спину и покачиваясь с носков на пятки своих хрустящих бурок, смотрел на нас, улыбаясь.

— Здравсьте, товарищ генерал! — сказал я, потому что очутился как раз напротив него и видел сияющие пуговицы со звездами на его шинели, кокарду, ввинченную в серый каракуль папахи, и большую генеральскую звезду на погонах.

— Здравствуй... как тебя зовут, парень?..

— Витька.

— Что, Витя, нравится тебе машина? — спросил генерал.

— Еще бы!..

— А ты чей будешь?..

— Я?! Струков я, Витька...

— Отец живой?..

— Не-а, убили в сорок первом году.

— Та-а-ак! И с кем же ты живешь?

— С мамкой.

— Она работает?

— Ага. На заводе.

— В каком цехе?

— Да самолеты красит.

— Та-а-ак, — снова протянул генерал, задумчиво рассматривая меня и всех мальчишек, что столпились вокруг. Долго он, заложив руки за спину, рассматривал нас и молчал. Хмурился. Мы ему явно не нравились. Одеты кое-как, кто в чем. Вытертые шапочки, засаленные кепочки-восьмиклиночки на глазах, телогрейки, ватники, перешитые со взрослого плеча пальтишки, латанные-перелатанные ботиночки, резиновые сапоги, стоптанные валенки. Худые, носами шмыгаем... Стоим перед генералом, директором авиационного завода, около которого, худо-бедно, а кормимся, учимся, растем. Словом, кормилец наш этот генерал! И мы это понимаем — хозяин! Но не боимся его, а восхищенно уважаем за статью, форму, классную машину и за все то, что стоит за его широкими плечами, отягощенными большими генеральскими звездами, — огромный завод, государство, армия, Сталин, маршал Жуков и близкая победа.

— А ну-ка, огольцы, подними-ка руку, у кого отец жив.

Нас стояло здесь человек пятнадцать. Руку поднял один. Генерал снова замолчал. Нам даже как-то не по себе стало. Ну чего это он?! Все выпрашивает...

— Хлеб-то есть в доме, а?

— Маловато хлебушка, товарищ генерал, — сипло сказал Громила, вечно голодный пацан, самый здоровенный среди нас и самый глупый и трусливый, — он шмыгнул носом и радостно улыбнулся.

— А вот муку недавно давали, сам выбивал... три вагона, это как?.. — спросил генерал.

— Давали, давали, товарищ генерал, спасибочки, — глупо загыгыкал Громила, воодушевляясь. О еде он мог говорить сколько угодно. — Блинцы, оладушки шамали. Вкусно...

— Что, все съели?

— Ага...

— Да вы его не слушайте, товарищ генерал, — вмешался в разговор степенный Митюха. — Кормимся мы. Не пропадем. Лишь бы скорее победа была!..

— А ну-ка, поди сюда, — дрогнувшим голосом сказал генерал и поманил пальцем Митюху. Тот подошел к генералу, не робея, но и не нахально. Подошел спокойно и с достоинством. Сам маленький, в больших, со взрослой ноги кирзовых сапогах, на голове какая-то вязаная шапчонка, в зеленом зипуне до коленей. Генерал присел на корточки перед Митюхой, взял его за плечи. — Какой же ты молодец и умница, пацан ты мой дорогой! — сказал генерал. — А?! — обернулся он к своим штатским спутникам, волнуясь и ища у них понимания. — Вы поняли чего-нибудь или вы ничего не поняли, а?..

Штатские дружно закивали головами.

— Ну вот что! — Генерал поднялся, прижимая одной рукой к себе Митюху. — Дальше будем делать так.. Вы, товарищи, — сказал он штатским, — идите по свежему воздуху прямо в заводууправление, ко мне... Там мы договорим. А я сейчас мальчишек катать буду. Загружайтесь, пацаны.

И генерал сам — подумать только! — с треском раскрыл перед нами дверцу. Мы, визжа от восторга и толкаясь, полезли в машину. И все пятнадцать человек влезли, и еще бы пацанов можно было напихать туда — так вместительна была машина. Шофер завел мотор, и машина уже тронулась с места, когда мы увидели, что от нашего дома, путаясь в полах телогрейки, шлепая по лужам валенками, с шапкой в руке, ревя что есть силы, бежит за нами четырехлетний Вовка Сундеев.

— Стой! — сказал генерал шоферу. — Посади гражданина.

Мы подхватили счастливого Вовку на руки. И по-

ехали. Ехали медленно. Притихли, потому что генерал рассказывал нам, о чем он совещался со своими подчиненными. План восстановления нашей улицы и всего поселка обсуждали. Генерал показывал нам, где будут новые жилые дома, где Дворец культуры, где детский сад, где новая школа, где кинотеатр «Родина», где фабрика-кухня.

— Вот так, ребята, работы невпроворот! — сказал генерал. — Помогать будете?

— Будем! — дружно закричали мы.

— Ну тогда прокати их с ветерком! — приказал генерал. И машина, мощно взревев, помчалась по Ленинградской улице, рассекая, как торпедный катер, огромные лужи, поднимая вверх брызги, блещущие под солнцем. И мы по-новому уже глядели на наши родные развалины и разбитые коробки домов, проплывающие мимо, облазанные нами вдоль и поперек во время бесконечных наших игр. Неужели их больше не будет?.. А как будет?! Какие будут дома? Улицы?..

Не могли мы себе этого представить. Не хватало нашей фантазии...

А пока мы видели лишь то, что было привычно, радовались быстрой езде в этой чудесной машине, восхищались таким свойским и простецким генералом. По улице шел народ, видел генерала в машине, набитой мальчишками, понимал его затею, улыбался, махал нам рукой.

Пришла стремительная веселая весна, и народ повеселел, постепенно освобождаясь от неуклюжих латаных, штопанных, шитых-перешитых зимних одежд, ходил в легких пальтишках и телогреечках нараспашку, и хотя он был бледный и тощий, этот трудовой люд нашего поселка, но не разучился радоваться теплу и солнышку.

А ребятня! Откуда только взялась она на свет божий от мала до велика: повывлезла из подвалов, бара-

ков, всяческих конурок и времянок, с самозабвением и страстью носилась по дворам и улицам, играя до изнеможения в многочисленные, бог знает кем изобретенные игры той поры, нынешней детворой позабытые: пристенка, жошка, чира, ножички, балда, чехарда и так далее.

Многие женщины и девушки, озабоченные и радостные, с измученными, но светлыми лицами, выносили на солнышко закутанных в разное тряпье младенцев.

«Божьи невесты», — говорил о них едко и грустно дядька Сизаря.

В воскресные дни по вечерам во многих дворах играли на гармошках и трофейных немецких аккордеонах. Собирался народ, начинались танцы. Девушки в резиновых сапожках, в телогреечках, завитые и напомаженные, танцевали друг с другом и от скуки тащили в круг кого-нибудь из нас, подростков, кто побольше...

В этот день совпали три события: Левитан по радио сказал, что наши войска форсировали Одер, на нашем заводе был накануне поднят в воздух первый, после восстановления, самолет, и моей маме исполнилось тридцать лет.

С раннего утра вся наша густонаселенная квартира возбужденно гудела и празднично суетилась. По комнатам снова плавал дым и запах от жарящихся на керосинках блинов, картошек; в большом цинковом чане доходило, булькая, варево из свиных ножек, и на деревянном, тщательно выскобленном столе начиналась разделка студня и разливка его по мискам и тарелкам. Дети толпились подле, выхватывая из-под рук матерей белые гладкие мослы, и обсасывали их, облизывая пальцы.

— Да погодите же вы, нехристи! — кричали радостно колготившиеся женщины. — Вот сядем все за стол, тогда трескайте...

Я, как самый старший из детей нашей кварти-

ры, участвовал вместе с Сергеем Ивановичем в более серьезных делах: мы носили воду в ведрах, чистили картошку и ставили на стол бутылки со спиртом.

Мама, раскрасневшаяся с пылу и жару, в красной кофте, весело поглядывала своими большими черными глазами в нашу с Сергеем Ивановичем сторону и была, по-моему, очень счастлива, так счастлива, что, никого не стесняясь, ни соседей, ни меня, то прижималась на ходу к Сергею Ивановичу, то обнимала его торопливо белыми полными руками, обнаженными до локтей.

Сергей Иванович смущался, всячески укорачивал расходившуюся женщину, соседки посмеивались добродушно.

А мне что-то не нравилось сегодня в маме, меня корбила и злила эта ее безудержность и открытая перед людьми радость, никого и ничего не желающая замечать вокруг. Впервые мама решила перед всем честным народом открыть то, о чем и так давно знали, но о чем принято деликатно молчать, — свое счастье с новым мужем. То, что она живет с Сергеем Ивановичем как с мужем, об этом все знали: знали, что Сергей Иванович — хороший муж, верный и добрый, об этом люди могли судить сами по его отношению к маме и ко мне, — и искренне радовались за нас, так быстро в это лихое время обретших надежную опору в жизни. Завидовали нам так же искренно и сильно — и вдовы бабы и сирые дети, — потому что хорошо знали истинную цену небывалого, невероятного счастья, привалившего нам с мамой.

Все это понимал, чувствовал и я, потому так быстро и охотно принял в отчимы Сергея Ивановича, привязался к нему и сразу почувствовал, как легче стало нам с мамой жить, как уменьшилось в нас напряжение одиночества и страха перед жизнью.

Но сегодня, в это солнечное, теплое, радостное, суматошное воскресное утро, веселость мамы, ее моло-

дость, влюбленность и красота раздражали и злили меня, потому что эта черноглазая женщина в яркой красной кофте с красивыми белыми, обнаженными до локтей руками выдала людям нашу тайну, касающуюся только нас четверых: мамы, Сергея Ивановича, меня и моего отца.

Зачем же она виснет на Сергее Ивановиче на людях? Ведь они хорошо помнят папу! И разве не чувствует моя влюбленная мать, что, понимая и одобряя ее новую любовь, люди молча и грустно вспоминают и сравнивают?..

Папина тень, печальная и лишняя на нашем празднике, витала среди нас, и лишней она была потому, что мама выдала нашу тайну, не спросив убитого на войне папы. Я вдруг отчетливо увидел, как устал и тяжело он сел прямо на пол в углу, вытянув ноги, возясь с козьей ножкой и прикуривая ее, — так он любил отдыхать перед ужином, придя домой после смены, — сел в углу, видимый лишь мне одному...

И в этот момент мама запела негромко, возясь с винегретом, а Сергей Иванович как раз шел мимо нее, нес с улицы ведро с водой, а пройти мимо мамы он мог только боком, и когда он проходил мимо нее, напевавшей какую-то песню и увлеченно рубящей лук ножом, мама в очередной раз прижала к стене Сергея Ивановича и повернула к нему счастливое лицо, глядя на него снизу вверх.

— Но ведь в этом виноваты только ты и я... — пела она громко, не стыдясь, говорила с ним о том, что знают только они двое.

— Ты, Катюша, что-то разыгралась сегодня... Охолонь малость. Люди ведь смотрят, — тихо сказал Сергей Иванович, но мама не пускала его и смеялась:

— А я уже хватанула стопочку с бабами, вот мне и весело, Сережа... Сереженька мой!..

Я сидел на маленькой табуреточке напротив, вместе с кучкой детей чистил картошку и с ненавистью и злобой смотрел на мать и отчима.

Сергей Иванович увидел, как я смотрю на них, покраснел от досады на маму, резким движением освободился от нее и, расплескав воду, поставил ведро на лавку и ушел из кухни в нашу комнату.

Скоро туда тихо вошел и я. Сергей Иванович стоял у окна и курил. Я подошел к комоду, снял со стены фотографию отца и сунул ее к себе под подушку.

— Полежи, папа, сегодня здесь... — бормотал я как будто про себя, однако точно знал при этом, что Сергей Иванович слышит каждое мое слово. — Глаза б мои не глядели на нашу мамку... Чеколдыкнула стопарь и завелась... Ну, ничего, папа, завтра она проспит-ся, я с ней поговорю...

Так приговаривал я злобным и отчетливым шепотом и, сделав свое дело, пошел было из комнаты, мстительно поглядывая на виновато горбившуюся у окна фигуру отчима.

— погоди! — сказал Сергей Иванович. — погоди! Стой, Витя! Иди сюда, иди, сядь со мной, давай поговорим...

— Ну?! — Я сел на свой диван. Сергей Иванович сел рядом, поколебавшись немного, положил руку на мое плечо. Я не брыкался. Сергей Иванович благодарно и порывисто притиснул меня к себе, облегченно вздохнул. — Ах ты, парень!.. Жох, а не парень!.. Ну и сынок у меня растет — оторви да брось!

— А чего вы тискаетесь на людях... Мы же договорились: папу помнить!

— Да правильно ты все говоришь, Витя! Все правильно! Вот завтра мамка твоя протрезвеет, мы с ней оба поговорим. Как мужчины, как муж и сын, это точно!..

Я все дулся и двигал бровями, а Сергей Иванович

хохотнул вдруг, но тут же осекся и серьезно, доверительно попросил меня:

— А сегодня ты не порть ей праздник! Ладно, Витя, а?.. Отца твоего родного мы не забываем. Но жить нам надо вместе, понял?! Раз так война распорядилась... Мамка твоя натерпелась, устала она... Пусть сегодня повеселится от души. Завтра ей снова вкалывать, ты понял, Витя?

— Да понимаю я все, не маленький!

— А раз понимаешь, то не смотри на нее зверем... Любуйся ею, Витя! Сколько сил у женщины для жизни! Какая твоя мать еще молодая и красивая! И меня вот, обрубка, приголубила. И тебя выведет в люди... Все будет хорошо, Витя! Будем жить, сынок...

Из кухни был слышен заливистый смех мамы, и он меня уже не раздражал. Хороший человек Сергей Иванович, хороший мне попался отчим, умел вовремя сказать нужные слова. И я им верил, как верили ему все люди, его знавшие, верили и любили его, потому что он был наделен бесценным человеческим даром — поддерживать и раздувать в людях силу жизни и надежды на будущее.

— Фото отца повесь на место! — сказал Сергей Иванович.

Я вытащил фотографию из-под подушки и прицепил ее на стену.

— Вот так! — сказал Сергей Иванович. — Пусть смотрит и видит, как мы будем жить... А теперь давай притащим стол от Сундеевых, пора ставить столы и стулья, наверное, женщины уже все приготовили. Помогай, сынок...

И вот все сидят за столом.

— Товарищи! — строго и серьезно сказал Сергей Иванович, встав со своего места со стаканом водки в уцелевшей руке. Он был одет в полную лейтенантскую форму, при новеньких погонах, при медалях и одном

ордене Красной Звезды, сиявших на его груди. Причесан, выбрит, наглажен.

Он стоял во главе стола, за которым друг на друге мостились все взрослое и детское население нашей многолюдной квартиры. Была здесь, конечно, и Таня — она сидела рядом со мной, и Семен Яковлевич; зван был и Сизарь. «Пусть сам наестся и сестренкам наберет сверток», — сказала мне мама, сама напомнив о Ваньке.

Рядом с Сергеем Ивановичем сидела сияющая от хлопот и своего счастья мама. Она действительно была красива и молода. Вот и Таня шепнула мне на ухо: «Какая твоя мама красивая! Я такую женщину в красном в Эрмитаже видела... До войны... с папой ходили... Очень похожа».

Да и все, я это видел, любовались мамой и отцом, и мне это нравилось. Я тоже шепнул Тане: «Давай крикнем: горько!» — «Что ты?! Не надо! Они сами скажут все, когда захотят», — сказала Таня, и я в который раз с уважением посмотрел на эту девочку и сжал в порыве благодарности ее руку под столом: за то, что она существует, сидит сейчас рядом со мной, бледная и одинокая в своей тоске по отцу, попавшему в больницу с тяжелой болезнью, за то, что она нуждается в моей помощи и заботе, и за то, конечно, что я ей тоже небезразличен...

— Товарищи! — сказал Сергей Иванович. — Мы почти пережили войну. Скоро наши возьмут Берлин, и будет конец войне. Нас осталось гораздо меньше, чем было до войны. Те, кто погиб... Первый тост за них. За Сашу Сундеева, за деда Степана Кирьякова, за его зятьев, за моего довоенного друга и товарища Петра Струкова...

Женщины захлопали носами и завздыхали.

— Реветь запрещаю! — крикнул Сергей Иванович. — От имени солдат погибших запрещаю вам реветь.

Как оставшемуся в живых, они велели вам всем передать... — кричал Сергей Иванович со слезами на глазах, — велели вам всем передать, чтобы жили счастливо... За что же они погибли — чтобы вы ревели, что ли?.. Нет! Пейте, женщины, с памятью о погибших и с думой о будущем. Со светлой памятью и светлой душой...

Сергей Иванович разволновался, покраснел и с мокрыми от слез глазами, торопливо, подавая всем пример, пил свой стакан водки, запрокинув голову.

И все молча и торжественно выпили.

— Ты извини, Катя, про тебя я не забыл. За тебя — вторую!

— Что ты, Сереженька! — нежно и растроганно ответила мама, и их голоса в тишине, которая всегда наступает, когда люди выпьют и закусывают, прозвучали особенно согласно и трепетно.

Мы с Таней выпили чуть-чуть вина и, конечно же, опьянели. Головы у нас закружились, и все воспринималось в каком-то мареве, все покачивалось и вращалось вокруг нас с Таней, а мы все смеялись и, перебивая друг друга, говорили, говорили... О чем говорили, я сейчас не помню... Предчувствие будущего возбуждало нас, ощущение близкой взрослости и непременно-го счастья объединяло нас с Таней. Играл патефон. Все танцевали. Дети носились, визжа, по комнатам.

Вот я увидел, как напряженно, в струнку выпрямившись, с припиленным вдоль бока пустым рукавом гимнастерки, танцует Сергей Иванович, вернее, не он танцует, а разгоряченная мама, смеясь, крутит его вокруг себя...

— Мама-а-а! — кричу я.

— Что, сынок? — отзывается, танцуя, мама.

— Так... просто...

Мне нечего ей сказать, я лишь делаю большие гла-

за, многозначительно указывая ими на Сергея Ивановича. Мама смеется.

— Семен Яковлевич! — снова кричу я, увидев учителя в объятиях Клавдии Васильевны Сундеевой.

— Что, Витя?!

— Хотите я наизусть «Кинжал» Лермонтова прочитаю?..

— Лучше на уроке, Витя.

— Ладно, на уроке, — кричу я и снова хохочу бессмысленно. И Таня хохочет. Потом мы хохочем над Сизарем, который тайком от взрослых хватил водки, накурился и ошалел совсем, стал сшибать углы и считать табуретки, потом разбил нос, заревел, и с ним случилась истерика. Его умыли, уложили в постель, и он, всхлипывая, уснул.

Потом мы с Таней танцевали краковяк, и все взрослые любовались нами, вернее Таней. Как кокетливо она брала пальчиками подол платья, стучала пяточкой об пол, вздергивала плечиком, кружила вокруг меня, неистово топчущего и бухающего ножищами...

— Ах ты, моя невестушка дорогая! — не выдержала мама, кинулась к Тане, обняла ее...

Уже наступил вечер, и никто не заметил, как стемнело, и в эту минуту какой-то крик послышался с улицы сквозь музыку и смех, и тут же в коридоре мы увидели инвалида, дядьку Сизаря. Он катился по полу на своей каталке. Его опухшее лицо было страшно, он кричал, показывая на дверь:

— Девушка зарезанная в подъезде лежит!..

Все кинулись, толкаясь, в подъезд.

— Тихо! Всем оставаться на местах! Детей увести! — властно скомандовал Сергей Иванович. — Катя, готовь воду, бинты, вату, постель. Захариха — за врачом! Семен Яковлевич, Виктор — за мной.

В подъезде, напротив входной двери, была дощатая дверь в подвал. Дверь эта была открыта. На ступень-

ках подвальной лестницы головой вниз лежала девушка. Сергей Иванович осторожно спустился по ступенькам, приподнял голову девушки. Цыганский платок с ярко-красными цветами, смятый и выпачканный известкой, валялся рядом. На девушке была беличья шубка, меховые пимы надеты на безжизненно, как палки, торчащие ноги.

— Одета девица, прямо скажем, роскошно! — прошептал Семен Яковлевич. — Откуда она взялась, такая...

Сергей Иванович завернул веки на глазах девушки. Тускло блеснули белки. Сергей Иванович расстегнул шубу, ухо прижал к груди девушки.

— Ну что?! — спросил Семен Яковлевич.

— По-моему, мертвая она!.. Несем домой... Берите...

Так вышло, что Сергей Иванович целой рукой подхватил девушку под правое плечо, Семен Яковлевич взял ее под коленки, а мне досталось поддерживать тело под левое плечо. И вот, когда я просунул руку под левое плечо девушки, то как раз попал рукой на что-то твердое, торчащее из-под левой лопатки девушки. Догадавшись, я вскрикнул:

— Это же нож!

— Где? — спросил Сергей Иванович.

— Да вот из-под лопатки торчит...

— Ладно, несем, потом...

Девушку принесли в нашу комнату, раздели. Сергей Иванович вытащил нож — это был остро отточенный и отшлифованный немецкий тесак — рану перевязали, уложили девушку на диван. Она вдруг застонала, открыла глаза, повела ими по лицам людей, склонившихся над ней...

Я узнал ее.

— Это же Майя!.. Сергей Иванович, помните, я вам о ней говорил?

— Да! Узнал я ее. Та самая. С подушкой на животе в очередь шла...

— Точно, это же та девчонка была, — узнала ее и мама. — Ну, докатилась... Ах ты господи, что творится на белом свете.

Таня тряслась от страха в углу. Ее успокаивал Семен Яковлевич.

— Что? — громко спросил Сергей Иванович. — Откуда ты, Майя? Кто тебя убил? Где они, Кот, Тэкс?

Майя бледнела все сильнее, и черты лица ее на глазах утончались.

— В Отрожке. Дровяные склады у леса. Там их ищите... — хриплым шепотом сказала Майя.

Слезы выкатились у нее из глаз.

— Убил он меня... Догнал все-таки. — Майя закрыла глаза.

— Вот гады... хитры... хитры... — бормотал Сергей Иванович про себя. — А мы в Шиловском да на Чижовке ищем... Ну, теперь ладно...

— Катя! — скомандовал Сергей Иванович. — И все... слушай сюда! Девушку обиходить, дожидаться врача. Сообщить ее матери. Я — в райком партии.

Сергей Иванович метнулся в нашу комнату. Я — за ним. Сергей Иванович вытащил пистолет из-под матраца, сунул за ремень, стал надевать шинель, торопясь; полу занесло — он никак не попадет целой рукой в рукав, злится, увидел меня:

— Помоги же!

Я бросился помогать.

И тут Сергей Иванович увидел, что я уже одет и стою перед ним навытяжку, как солдат, и ем его глазами, как и положено солдату.

— Ты чего это?.. Куда собрался, пацан? — недоумевал отчим.

— С вами, Сергей Иванович! С тобой... папа! — прошептал я.

— Ну ты вот что, сынок мой дорогой. Ты меня за душу не бери. За папу спасибо, а со мной ты не пойдешь! Там будут стрелять и убивать будут.

— Ты же сам говорил, что я взрослый, что... взрослый я... сам говорил... я скоро комсомольцем буду... — в отчаянии, сквозь слезы, закричал я. — Я и стрелять могу!..

— Глупыш! — притянул меня к себе Сергей Иванович и поцеловал. — Глупыш-малыш!.. Некогда мне сейчас... Кот уходит... Я потом тебе все объясню... Катя! — крикнул он. — Под домашний арест его! — сказал он вошедшей маме. — Раздеть, уложить спать, запереть, никуда не пускать до моего возвращения. Бегу я... бегу...

— Сережа! — тоскливо сказала мама, сев рядом со мной на диван. — Береги себя, родной... Не лезь вперед. Там будут солдаты, милиция... Если, не дай господи... я не переживу...

Последние слова Сергей Иванович не слышал. Лишь в подъезде гулко хлопнула дверь за ним. Я рванулся, рассчитывая застать всхлипывающую мать врасплох и убежать, но она вцепилась в меня с такой яростью и силой, так злобно зашипела, борясь со мной: «Я тебе покажу войну!», что я понял: силой мне отсюда не вырваться.

Я снял пальто, шапку и лег рядом с храпящим Сизарем. Мать посидела около, потом пошла к Сундеевым: там умирала Майя.

Я схватил в охапку пальто и шапку — и был таков.

Когда я подбегал к райкому партии, из ворот выезжала машина с людьми. Это была уже вторая машина. Первая, та, в которой был Сергей Иванович, уже ушла в Отрожку.

Я дотгнал полуторку, с криком: «Я с Сергеем Ива-



новичем!» — отчаянно вцепился в задний борт и, подхваченный милиционерами, свалился в кузов.

Натужно воя, полуторка мчалась по темной улице, среди угрюмо молчащих развалин.

Глава тринадцатая

Два длинных сарая у подножия темного леса. Солдаты и милиционеры залегли в молодом соснячке, метрах в двухстах от сараев, по другую сторону засыпанной глубоким снегом поляны.

Там, в сараях, — бандиты! Меня держит около себя начальник милиции, майор, грузный мужчина с землистым лицом. Мы с ним — под густой сосной, лежим на брезенте. Майор сопит и прижимает ладонь к правому боку.

Начинался рассвет. Тихо зашумел лес. Какой-то звон пронесся, еле слышный, затем снова все стихло и заметно стало светлеть вокруг.

И тут впереди поднялся на ноги Сергей Иванович в своей шинели, с пистолем в опущенной вниз руке. То и дело проваливаясь в снег, он не торопясь пошел вперед, к сараям.

— Остановись, дурак! — крикнули из сараев. — Убьем ведь!

Сергей Иванович остановился.

— Тэкс! — сказал он громко. — Тебе кланяется мать и просит сдаться властям, пощадить ее материнское сердце.

Бандиты молчали. Тихо стало. И тут из сарая вышел один. Был он высок, строен, черные волосы развевались гривой по ветру. На нем был черный костюм, белые бурки. В одной руке он держал бутылку водки, в другой — пистолет. Он слегка пошатывался.

— Ты что, мать мою видел? Кто это сказал, подойти! Не бойся!..

Сергей Иванович прошел шагов на десять вперед.

— Я видел твою мать... недавно... Она здорова в общем, но говорит, что смерти твоей не перенесет. Если так, то немного ей жить осталось...

— Тэ-э-э-кс! — сказал Ленечка, взболтнул бутылку и выпил из горлышка. — Значит, говоришь, нам с мамой немного жить осталось?.. Тэ-э-э-кс!..

— Да... Следствие... Суд... Приговор... А время военное. Суд будет правый и скорый.

— Тэ-э-э-кс! — снова выпил из горлышка Ленечка и швырнул пустую бутылку в снег.

— Так что сдавайся... Тэк-э-экс! — передразнил бандита Сергей Иванович и сделал движение вперед.

— Ну! — поднял пистолет Ленечка. — Не торопись.

— Тэкс! — крикнул майор. — Сдавайся добру. Не балуй! Хоть умрешь без лишней крови!..

— А-а-а-а! — вдруг заорал Тэкс, стал срывать с себя пиджак, рвать рубашку, завертелся как-то боком на одном месте, оседая в снег. Его волчий вой разносился далеко вокруг, и все растерялись на какое-то время, глядя, как корчится на снегу это чудовище.

Из сараев раздался выстрел. Тэкс ткнулся лицом в снег и затих.

— Стой! Не стрелять! — Сергей Иванович побежал вперед, проваливаясь в снег. — За мной!

Снова из сараев прогремел выстрел.

Сергей Иванович упал.

— Папа! — в ужасе закричал я и побежал к лежащему неподвижно на снегу Сергею Ивановичу. — Папа! Папочка-а-а! — упал я на него, добежав, и сразу почувствовал, что Сергей Иванович мертв.

— Вперед! — закричал майор.

И все бросились в атаку. Перестрелка продолжалась минут пять. Было убито два бандита, остальные пятеро сдались.

...Какое-то удивительное, совсем не мертвое ли-

цо было у Сергея Ивановича, когда он лежал в гробу, среди подснежников, верб и бумажных цветов. Бледное, но чистое и светящееся изнутри.

Потом этот свет прикрыли красной крышкой гроба. Застучал молоток, вколачивающий огромный гвоздь в крышку... И закричала молчавшая эти два дня мать, и набрасывалась она, как подбитая птица, на кумачовый гроб, и терзала его, и билась об него в бессильной ярости.

А я?! Что я?! Мальчишка, испуганный мертвым телом, которое я вынужден был поцеловать в холодный, как промерзшее дерево, лоб; потрясенный бездной горя и отчаяния, разверзшейся передо мной в материнском горестном крике...

У меня перед глазами все покачивалось, мне было дурно, сердце колотилось в самом горле, ноги подкашивались. Я едва стоял, вцепившись в плечо Сизаря. **Меня плотно обступили все наши, и Сундеевы, мал мала меньше, и Кирьяковы двое с больной старухой, и старики Захаровы, и Таня, и Семен Яковлевич, и ребята из класса, и учителя, и еще много людей — целая толпа запрудила кладбище, и над ним летели по свежему мартовскому ветру громкие слова представителя райкома партии о том, какой образцовый коммунист, храбрый солдат и хороший человек был Сергей Иванович.**

Из-за чьего-то плеча пристально смотрит на меня Елена Тихоновна. Но мне не до нее.

Второго отца отняла у меня война! Я стоял в полубморочном состоянии, и страшился матери, и стыдился перед людьми за нее, которая билась и билась о красный гроб...

Нет, не могу больше! Крик ее, он и сейчас стоит в ушах.

ЭПИЛОГ

Спустя много лет воскресным мартовским утром я шел по улице, где мы с мамой жили в военные и послевоенные годы. У дома с башней я пошел тише. Да, тот самый хлебный магазин... Только очереди нет и сделаны витрины, в которых навалом разного хлеба и всяческих булок. А вот и наш дом. Какой-то он маленький стал. На скамеечке старушка сидит и внимательно смотрит на меня.

Я остановился.

Головка ее, обернутая в толстую шаль, подрагивает, старушка смотрит на меня сквозь слезы старости. Я узнал ее.

— Елена Тихоновна! Это же вы?!

— Здравствуй, Витя... Наверное, думал, что я умерла... А я еще здесь...

— Елена Тихоновна?!

— А ты, Витя... мужчина... крепкий... Семья, дети здоровы?

Старушка говорила медленно, шелестящим шепотом, я что-то отвечал ей и боялся смотреть на ее высохшие ручки. Их она, как птичка, сложила вместе и держала на коленях.

— Леню помнишь?..

Я не сразу понял, о ком она... Господи, это же она о сыне своем... Что я мог сделать под безумным взглядом матери? Что я мог сказать ей сейчас? Я сказал лишь:

— Да, помню...

— Помни его, — шелестела несчастная старушка, — не забывай... Помни хоть ты его... Без меня некому больше.

Она смотрела на меня так, будто вообще в последний раз видела этот мир и спешила вообразить на моем месте своего сына, наверное, это ей не удавалось, и еще сильнее дергалась ее голова.

— Я провожу вас домой, — сказал я, склонившись над нею. — Где вы живете?

— Тринадцатая квартира...

Старушка вцепилась в мою руку, стала подниматься, но ноги ее подломились, я подхватил свою бывшую учительницу за руки и понес на второй этаж.

Я внес ее в маленькую комнатку, положил в кресло, стоящее у окна.

Старушка открыла глаза и сказала:

— Не бойся, я не умерла, я еще здесь... Забылась... Это со мной бывает все чаще...

— Я вызову «скорую помощь»!..

— Не стоит... Для меня это привычно... Ухожу туда с надеждой: наконец-то все для меня кончилось... Очнусь — снова я здесь...

— За вами смотрит кто-нибудь?

— Смотрят, смотрят соседи, очень милые люди... Да ты не спрашивай меня ни о чем, сядь на диван и отдохни.

Старинный, с едва сохранившейся резьбой книжный шкаф, набитый старыми учебниками; темно-коричневый, посеченный трещинами комод; маленький холодильник у входной двери, в углу — огромный потрескавшийся ящик телевизора КВН с линзой, в которой до половины стояла желтая вода; небольшой, с чистой водой аквариум на подоконнике, из глубины его, прилипнув вывороченными губами к стеклу, смотрела на меня, выкатив глаза, единственная маленькая красная рыбка.

А в кресле напротив меня лежала маленькая старушка, жидкие седые прядки выбились из-под чистенького батистового платочка. Она торопливо шептала что-то, вцепившись ручками в подлокотники кресла, не видя меня, но исповедуясь перед кем-то, суровым и строгим.

— Елена Тихоновна!..

Она подняла голову, нашла меня глазами и ясным голосом сказала:

— Удивителен факт тот, что я жила все эти годы. Прямо медицинский феномен... Ах, Витя, люди позволили мне жить около них, они простили меня... Люди великодушны.. Но они ничего не забыли, и я это знала всю жизнь...

Я был подавлен, угнетен и страдал, как, пожалуй, давно со мной не случалось, от безысходной жалости к этому несчастному существу, почти бесплотному, но еще живому символу прошлого; от сознания беспомощности своей перед трагедией длиною в тридцать с лишним лет, свидетелем которой я становлюсь уже второй раз.

— Неужели вы все эти годы так казнили себя, Елена Тихоновна?! Да как же вы жили-то?!

Старушка благодарно на меня посмотрела, потом сказала:

— Тетрадь моя у тебя, правда?.. Пусть у тебя и будет. Спасибо, что никому ничего не сказал. Пока жива... никому ничего... Пока жива... Я скоро, вот-вот умру, я это чувствую. А умру — тогда делай с ней что хочешь... А теперь иди... Я долго спать буду. Оставь мне свой телефон. Умру — тебе позвонят соседи.

...Соседи Елены Тихоновны позвонили мне через месяц. В возрасте восьмидесяти лет она тихо скончалась на моей улице детства, в маленькой комнатке, окруженной старыми вещами и учебниками истории. Я хоронил ее вместе с двумя пожилыми людьми, ее соседями, ничего не знавшими о ее прошлой жизни. Хоронили мы ее на кладбище за нефтебазой, в солнечный теплый день, в канун майских праздников. Кроме нас троих да могильщиков, никого возле ее гроба не было. Лишь какая-то старуха, взглянув равнодушно на проплывающее мимо нее восковое лицо покойницы, когда выносили гроб из дома, сказала:

— Смотри-ка, всех пережила...

Соседи тихо рассказывали мне о ее последних годах, уединенных и немощных, а я думал о той жестокой муке, которую она всю жизнь несла в своем сердце.

Но я не мог в эти минуты не думать и не вспоминать Сергея Ивановича. Поэтому, закопав в землю мать бандита, я поехал через весь город на другое кладбище.

У входа в это кладбище, у его литых чугунных ворот, я набрал у богомольных старушек огромный букет цветов и пошел с ним на могилу Сергея Ивановича. Я сел на скамеечку у железного обелиска, увенчанного красной звездой, вытащил из портфеля четвертинку водки и помянул своего отчима. Немного захмелев, я почувствовал желание поплакать и рассказать Сергею Ивановичу о том, как мы жили с мамой без него, как томилась и страдала сердцем мама и не выдержала, умерла в тысяча девятьсот пятидесятом году. Я хотел рассказать Сергею Ивановичу о ремеслу, об армии, о заводе, о заочной учебе в политехническом институте, о том, как стал инженером, женился, получил квартиру, родил сына и дочь... Как тяжело и одиноко мне было в жизни одному, без отца и без матери. Как обижался я на судьбу свою, на войну проклятую, отнявшую у меня двух отцов. Где могила родного, я и не знаю... Где-то под Ленинградом его косточки...

Я провожу рукой по железным буквам, приваренным к обелиску. Из этих букв составлены слова:

«Сергей Иванович Нефедов.

1910 — 1945 гг.

Из рабочего класса.

Солдат Великой Отечественной войны.

Коммунист».

Я глажу ладонью эти холодные буквы и шепчу сквозь слезы: «Папа! Папочка мой...»



Через год после Победы мы вернулись в родной мамин город. Я устал от длинной и мучительной дороги, и, сонного, внес меня отец в наш новый дом, в нашу новую квартиру. Я спал весь вечер и всю ночь, хорошо выспался, а когда проснулся, отец уже был на новом заводе, и слышно было, как гудят самолеты на аэродроме, а на кухне возится мать и пахнет оттуда чем-то вкусным. Все было привычно, и я даже не сразу сообразил, что мы уже живем в новом городе.

А сообразив, вскочил с постели, быстро позавтракал, надел свои теплые бурки, старый отцовский летный шлем и шубу, сшитую из летной американской меховой куртки. Мне было сытно, тепло, радостно от предстоящей встречи с новым и неизвестным.

На улице по обледелым камням мостовой мела поземка. Трамвайные рельсы холодно блестели под солнцем.

Напротив стоял дом, похожий на наш, а больше домов на улице не было. Не было и улицы, а только стояли два дома — один против другого. А слева и справа возвышались обожженные, с отбитыми углами, полые кирпичные коробки с пустыми окнами. А дальше, во все стороны, сверкало под солнцем голое заснеженное поле, и на краю его стояли такие же скелеты домов, освещенные солнцем.

И было пусто на улице, морозно и тихо, лишь гудел вдали завод. А когда я пошел потихоньку вдоль каменных коробок, то отчетливо слышал, как свистит и подвывает внутри них ветер и скрежещет где-то оторванный лист железа. Такого я еще никогда не видел. Я знал, что все это — война, но ее угрюмые следы на земле я видел впервые. Мне стало тоскливо, одиноко, я повернул обратно домой.

И тут он появился передо мной, как бы возникнув из этой гнетущей морозной пустоты. Мальчишка был моего роста, коренастый, из-под вытертой шапчонки торчали льняные мягкие волосы. Длинная лоснящаяся телогрейка свисала до заплат на коленях. Обут он был в большие солдатские ботинки. Руки прятал в рукавах телогрейки. Пританцовывая, шмыгая покрасневшим на морозе носом, он с любопытством разглядывал меня.

Это мне не понравилось.

— Ну, чего уставился?

Он смутился, потоптался, подтянул штаны.

— Да я так, ничего... А ты новенький, да?..

— Вчера вечером приехали. С Дальнего Востока. А из Москвы на самолете летели.

— На самолете?! Здорово!... А у тебя отец летчик, верно? Мне мать говорила, что новый летчик на завод определился...

Он посмотрел на мою шубу, сказал:

— А я по твоей шубейке догадался... У нас летчики тоже в таких ходят. Теплая, поди?..

— Как в печке! Хоть сейчас на Северный полюс... А тебе ведь холодно в этой... Взяла бы мать и сшила тебе такую же шубу...

Он настороженно взглянул мне прямо в глаза: не смеюсь ли я над ним? Потом тихо сказал:

— Эх ты, а еще большой. На что ей шить-то? Уборщица она. А нас двое, ртов-то. Я и сестренка. Та все болеет. В самый сорок первый родилась. А отца немцы порешили тоже в сорок первом. Мне тогда семь лет было. А тебе сколько лет?

— Двенадцать.

— И мне тоже.

— В пятом?

— Ага...

— Значит, вместе учиться будем. Школа далеко?

— Да нет. Там она, за аптекой, на пустыре...

Мы постояли еще, приглядываясь друг к другу и чувствуя, как все проще и легче нам разговаривать, как доверие приходит на смену настороженности.

— Меня звать Серегой.

— Меня — Галка.

— Галка?!

— То есть не Галка, звать меня Петькой. Да вот ребята Галкой прозвали. Галка да Галка. Все из-за фуфайки.

Он взмахнул длинными рукавами своей телогрейки и каркнул неожиданно звонко и так стал похож на черную птицу, что я рассмеялся.

— Точно, галка!

Он тоже засмеялся, довольный своей шуткой и тем, какое впечатление она произвела на меня.

— Пойдем на каток, там ребята сейчас играют.

— Подожди, я сбегая за коньками.

Я влетел домой, быстро собрал коньки и клюшку, побежал было на улицу, потом вернулся, схватил со стола только что испеченные матерью, еще горячие пи-

пирожки с мясом, выскочил на улицу, сунул пирожки Галке, и мы побежали на каток...

Так началась моя жизнь в новом городе, разбитом войной, среди его развалин и пепелищ. Так началась наша дружба с Галкой.

Галка охотно подчинился мне, наверное, потому, что я был на виду у всех ребят нашего района; я лучше многих играл в футбол и хоккей и не робел в драках с придачинскими мальчишками.

Галка почти каждый день бывал у меня дома, в нашей большой двухкомнатной квартире. Мы вместе учили уроки, а потом играли в шашки. И обедали. Вкусные борщи, супы, макароны с котлетами, пирожки, кисели и компоты и даже хлеб со сливочным маслом Галка ел вместе с нами с удовольствием, не смущался, потому что ощущал нашу с мамой искренность и сердечность.

С робостью и восхищением он поглядывал на моего отца, который, ловя свободный часок-другой между полетами, иногда прибегал домой днем, чтобы «подавить ухо минут шестьсот». Рядом с диваном отец сваливал в кучу всю свою летную амуницию, от нее пахло бензином и еще морозом, ветром и небом; на спинку стула отец вешал планшетку и шлем. Он спал, бурно храпя, накрыв голову бархатной, расшитой матерью подушечкой, а Галка завороченно, удерживая дыхание, рассматривал и осторожно трогал его романтические одежды.

— Твой батя — сталинский сокол, — говорил он мне. — Счастливый ты, Сережка.

Галка подружился и с матерью. Смущался всякий раз, но брал пакет, который мать передавала его сестренке. Это она стала делать, когда заметила, что Галка не все съедает, а то ли котлету, то ли пару пирожков, то ли хлеб с маслом или еще что-нибудь из своего обеда у нас старается спрятать и унести домой.

Когда мама увидела, как он сует, обжигая руку, жир-

ную котлету в карман, она засмеялась. Громко и весело.

— Смотри, Сережа, — сказала она мне, смеясь. — Смотри, как твой друг заботится о своей больной сестренке.

Я ничего не понимал. Галка покраснел и опустил голову.

— Что же ты, Петя, делаешь? — продолжала мама. — Во-первых, штаны себе жиром испортишь, а ведь их у тебя не так уж много... Во-вторых, котлета остынет, будет холодная и невкусная. Почему ты прячешься от меня? Ты считаешь меня жадной, да?

— Ну что вы, тетя Маш?!

— Тетя Маш, тетя Маш... Почему же не сказать своим друзьям прямо: я, мол, для сестренки хочу котлету приберечь... Обижаешь ты меня, Петя...

С тех пор Галка неизменно уходил домой с пакетом для сестренки. Однажды мать хотела подарить ему сапожки, такие же она мне купила на толкучке. Была затяжная, пронзительно-холодная весна, Галка ходил с мокрыми ногами и отчаянно мерз.

После традиционного обеда мать, вдруг покраснев, сказала, что вот, мол, сапоги лишние оказались у нас, что Петя может их взять и носить на здоровье.

Галка побледнел, посмотрел исподлобья на мать, отчего она совсем смутилась, тихо сказал: «Что вы? Спасибо! Не надо!» — поблагодарил за обед и ушел, осторожно прикрыв за собой дверь. Потом он мне сказал, что больше не будет у нас обедать. И ни разу после этого не обедал с нами. Однако дружба наша продолжалась.

Играли мы в разные игры. Среди прочих была и такая: мы лазали и бегали, как обезьяны, по мертвым коробкам домов. Каких-либо правил эта игра не имела. Мы просто лазали, и все: вверх, вниз, по уцелевшим лестничным клеткам, по оголенным переплетам балок, по стенам и потолкам. И не было ничего в

этой игре, кроме ощущения преодоленного страха перед высотой и гулкой пустотой обугленных пространств.

...Мы с Галкой сидели на опустошенном взрывом тяжелой бомбы потолке четвертого этажа, свесив ноги в зияющий провал, отвесно обрывающийся вниз рваными кирпичными уступами до самой земли, на которой валялись груды обугленных кирпичей.

Над нами было небо и солнце, внизу ходили по улице маленькие люди. Свистел в перекрытиях ветер. Тяжелый самолет, сотрясая воздух и землю ревом, пронесся прямо над нашими головами.

— На посадку пошел батя, — сказал я и бросил вниз камень.

— Скажи, Сереж, а вот я, например, могу стать летчиком? — спросил Галка.

Он задумчиво смотрел в ту сторону, куда опустил-ся самолет.

Таким я запомнил Галку. Не лицо его, а выражение его лица, как будто неясные видения своего будущего он старался увидеть там, откуда доносился гул севшего на аэродром самолета; и фигурку его запомнил, в черных трусиках и в ситцевой выгоревшей рубашонке, напряженно подавшуюся вперед.

— Ты? — удивился я. — Откуда я знаю... Надо смелым быть и сильным.

— А что, я трус, что ли?..

— Да нет, не трус...

Я смотрел на кирпичную отвесную стену перед нами, метрах в трех. На нее еще никто не забирался. Я приблизительно уже знал, что для этого нужно было сделать. Нужно было разбежаться по потолку четвертого этажа, на котором мы сейчас сидели с Галкой, прыгнуть через трехметровый провал, попасть ногой в небольшой выем стены напротив, одновременно уцепившись руками за вбитую в эту стену скобу. Потом подняться по уступам — и ты наверху. Там, где еще

не ступала нога ни одного мальчишки! Заманчиво!
И я сказал:

— Никто еще на эту стену не залезал. А ты залезешь?..

Галка посмотрел на стену, потом на меня.

— Не знаю... Боязно...

— Ну вот видишь... А хочешь летчиком быть...

Галка помолчал, потом сказал:

— А ты, Сережа, залезешь?

Я растерялся и не знал, что ответить Галке.

Но, конечно же, я сказал: «Да!», потому что просто не мог сказать: «Нет!», хотя смутно представлял себе возможность прыжка через эту каменную бездну.

— Да! — твердо сказал я.

Галка посмотрел на меня, и было в его взгляде сожаление, что я поторопился с ответом, он хорошо уже знал меня и понимал, что раз я сказал «да», то буду прыгать. Он испугался за меня.

А я уже встал у края провала, пробуя толчковую правую ногу, прикидывая расстояние до выемки и до скобы на противоположной стене. Я не смотрел вниз, старался не смотреть и все же один раз заглянул в бездну, и голова моя закружилась.

— Сережа, надо! — умолял меня Галка. — Я так просто сказал. Не надо прыгать...

— Почему не надо? — бормотал я сквозь зубы. — Надо! Еще как надо! — твердил я себе, медленно отступая назад для разбега. — Отойди! — грубо крикнул я, потому что Галка пытался взять меня за руку и остановить. — Не мешай!..

Я ощущал тоску на душе, злость и отчаяние сжали мне горло; я отчетливо видел зияющую глубину этого провала с острыми краями выступов до самой земли, а на ней — груды битого кирпича.

И я понял, что не прыгну. Это было неожиданно, я никогда не думал, что могу испугаться, и еще больше

запсиховал, у меня задрожали колени, и мольбы Галки уже были не нужны. Я вяло подбежал к краю каменной пропасти и остановился. Шатаясь, отошел от края, сел, уткнув голову в колени.

— Сереж, что ты, Сереж! — Галка растерянno суеился около меня.

— Да уйди же ты! — заорал я на него, и злые слезы выступили у меня на глазах. Я ненавидел свидетеля своего позора.

Наверное, Галка это понял, побледнел от обиды, растерялся совсем, не зная, как подступиться ко мне, заметался и вдруг прыгнул через провал, рубашонка парусом вздулась за его спиной; он точно попал правой ногой в выем стены, крепко схватившись за скобу.

— Сережа-а-а! — ликуя, закричал он. — Смотри, я перепрыгнул. Смотри же, я перепрыгнул!

Его лицо сияло. Я криво улыбнулся, вяло сказал: — Молодец!

— Протяни мне вон ту палку, Сережа...

С помощью палки он легко прыгнул обратно и стоял теперь передо мной, возбужденный.

— Это совсем не страшно, Сережа... Ты только не смотри вниз, смотри прямо перед собой, смотри на скобу. И все! Ты прыгнешь, обязательно прыгнешь! Раз уж я прыгнул, то ты...

Он смущался, суеился и заискивал передо мной.

А я совсем разозлился и снова приготовился к разбегу.

— Да ладно тебе, не учи ученого!

Оттолкнул Галку.

— Не мешай!..

Но снова этот проклятый страх, этот тоскливый ужас! Он стремительно вполз в мое сердце, стеснил дыхание и сделал ватными ноги.

Я не мог сдвинуться с места, стоял и стоял, застыв, как бревно, в напряженной позе и был уже просто

смешон, очевидно; но ничего не мог с собой поделывать — я кожей чувствовал холод, овевающий меня из бездны, и точно знал, что не попаду левой ногой на выем стены, сорвусь и...

— Сережа, смотри, Сереж, — залепетал Галка. — Это не страшно. Это совсем просто. Не смотри вниз и беги. Смотри на скобу...

Я не двигался. И Галка снова побежал вперед, легко оттолкнулся, перелетел через провал, ударился всем телом о красную кирпичную стену и беззвучно исчез в провале.

— Галка-а-а! — в ужасе заорал я и, обдирая руки и колени о камни и рваное железо, ринулся вниз. — Помогите! Помогите, люди! Да помогите же! — кричал я, стоя на коленях подле Галки, распростершегося на битых кирпичах. Кричал, пока не прибежали люди...

...Я много ночей кричал во сне, потом заболел и надолго слег. Врач сказал, что это от сильного нервного потрясения.

— Он у нас очень впечатлительный мальчик! — сказала врачу мама и заплакала. — И Петю жалко, доктор, очень славный был мальчишка, но как представляю себе, что на его месте мог быть Сергей... О ужас! — Мама снова заплакала.

— Благодарите случай! — утешал маму врач. — А может быть — судьбу?.. Да нет, наверное, случай. Он вам оставил сына, а ту мать осиротил... Никто не виноват!

На похоронах Галки я не был. Мальчишки, когда пришли проводить меня, рассказывали, что много народу его хоронило, многие плакали...

После выздоровления я сразу полез на потолок четвертого этажа этой мрачной каменной коробки, не колеблясь, прыгнул через провал, четко попал ногой в выем противоположной стены, цепко ухватился за скобу. Потом прыгнул еще несколько раз кряду, глядя вперед, а не под ноги. Так, как учил меня Галка.

Мой красный мяч

рассказ



Я вышел на середину пустыря и, ликуя, изо всех сил ударил по нему ногой, и он взлетел над нами, над бурым от высохшей травы пустырем, над развалинами родильного дома, пылающими пустыми окнами в багровом свете низкого вечернего солнца, он взлетел, мой красный мяч, в синее небо, поблескивая там, в вышине, красными боками, и все мы, восхищенно задрав головы, следили за его невероятным полетом, что совершался по огромной дуге, плавно опускающейся на землю.

— Вот это да!... — заорал в восторге Славка Ба-лабай. Мне был приятен Славкин восторг, потому что этот прекрасный мяч, парящий сейчас в небе, был мой. Ни у кого — не только в нашем дворе, но и на нашей

улице, да и на других улицах — не было такого мяча. Это я знал точно и стоял, уперев руки в бока, снисходительно слушая ропот восхищения и глядя, как мой красный мяч мчится к земле.

Тут он упал на землю со звоном, подпрыгнул, его поймал на голову Ванька Сизарь и погнал к чужим воротам.

Игра началась...

Когда я забил двадцать седьмой гол в ворота Балабая, а Балабай в мои двадцать третий, мы повалились на землю, и между нами лежал мой красный мяч. Я вяло пнул его ногой и сказал:

— Может, хватит, а?..

Балабай, бурно дыша, прохрипел:

— Что, трусил, да? Как я догонять стал, так ты трусил, да? Нет! Давай уж до тридцати...

— Кто? Я трусил?..

Я поднялся, за мной, пошатываясь, поднялась моя команда, встав лицом к лицу со взмыленной командой Балабая, и мы пошли в атаку. Тридцатый гол мы забили первыми. И снова все рухнуло на землю.

— Ну что, съел? — прошептал я, хватая воздух потрескавшимися губами. — Может, до сорока, а?..

Балабай, лепеча что-то несвязное, с ненавистью глядя на меня, стал подниматься.

— Да ну их! — сказал Сизарь, вытирая грязные подтеки на рыжем лице невероятно грязной майкой. — Пусть еще потренируются.

Балабай вяло махнул рукой, и в который раз поверженный противник убрался с поля боя. Я видел его сгорбленную спину с выпирающими лопатками, и странное для мальчишки смутное чувство жалости испытал я, видя, как нелепо оттопыриваются его грязные локти и двигаются под тонкой шеей худенькие ключицы.

Я сказал:

— Балабай!

Он оглянулся, равнодушно посмотрел на меня.

— У Таньки сегодня день рождения. Приходи, Балабай!

Он постоял немного, потом зло крикнул:

— Идите вы со своей Танькой знаете куда?!

И быстро пошел прочь.

Мне было больно смотреть вслед Балабаю против солнца, я ударил ногой ни в чем не повинный мяч и крикнул:

— Ну и ладно, ну и подумаешь!..

Вечером он все же пришел к Таньке на день рождения. Худенькая девочка эта кричала за столом громче всех, запрокидывая голову, лихо пила морс и заставляла нас есть конфеты.

В комнатке было тесно, но весело. Отец Таньки, седой и полный, ласково улыбался и называл нас юношами.

Играл патефон, тускло поблескивали корешки книг на стеллажах, ночной ветер тянул в окно, шевеля тяжелую занавесь, в углу в портретной рамке весело смеялась молодая чернявая Танькина мама, погибшая под бомбой. Мы танцевали с Танькой краковяк, и я, осмелев, жал ее ладошку, а она, уперев руку в бочок, вдруг ответила мне таким же неуловимым пожатием, и юная кровь ударила мне в лицо, и я вдруг увидел совсем близко ее черные глаза, короткие бровки и вздернутый носик и всю ее, ладную и тонкую, грациозную и прелестную в этом милом наклоне головы и повороте и изгибе тела. У меня совсем зашла голова от непонятной, но невероятной радости, и я, смеясь вздохнув, кружился вокруг хохочущей Таньки, неистово топая ногами.

Так мы танцевали краковяк с Танькой и не видели, что из угла, весь съездившись, смотрел на нас, не ми-

гая, Балабай. Воротник наглухо застегнутой сатиновой рубашки сиротливо белел вокруг его тонкой шеи. Я наткнулся на его взгляд посреди упорительного танца, смутился и стал посреди комнаты. А Танька подпрыгнула к нему, кричала: «Слава, пойдем с нами танцевать, ну, Слава, не стесняйся, ну что же ты такой бука, Слава...» — и ловила его за руки.

Балабай, глядя в пол, сказал, что он не умеет танцевать... не хочет, что он ничего, просто так... что он просто посидит, что, в общем, не надо, Таня!..

А потом вдруг побежал из комнаты. Я бросился за ним, на лестничной клетке услышал, как хлопнула дверь подъезда. От этого одинокого пустого звука мне стало совсем худо. Мне хотелось догнать Балабая, и никуда не пускать его, и говорить ему хорошие слова, и пообещать верную дружбу, а потом привести его обратно, посадить за стол и пить вместе чай с конфетами, а Танька чтобы с ним танцевала краковяк и чтобы Балабай и Танька смеялись и кружились так же, как и я в недавние минуты счастья.

Я выскочил на улицу, там было темно, глухо шумели тополя перед дождем, влажный теплый ветер дул в лицо, и я кричал: «Балабай, вернись, Балабай!..»

В этот вечер, когда жаркое послеполуденное солнце висело над развалинами родильного дома, что-то плохо собирались наши команды. Мы со Славкой сидели на бурой траве, а между нами лежал мой красный мяч.

Балабай почти уже не дулся на меня, он оперся рукой о землю, задумчиво склонил голову, рисуя что-то палочкой на песке.

Я подставил лицо солнцу, было тихо и хорошо. Я сказал:

— Ты не обижайся на меня, Балабай.

Балабай помолчал, потом сказал:

— Ничего, я не обижаюсь.

Я сказал:

— Скоро в школу.

— Да, — ответил Балабай. — У тебя все учебники есть?

— Отец прилетел из Москвы, привез.

— Хорошо тебе с отцом...

— А у тебя мать хорошая?..

— Хорошая! Я ее люблю, а то вовсе бы пропал без нее. Плачет она часто. Я уж отцовскую фотографию спрячу, а она найдет и ревет...

— Слушай, давай в этом году сядем вместе за одну парту, а? Я буду помогать тебе по алгебре и вообще...

— Давай... Только алгебру я сам одолею.

— Да я говорю просто так... Вдвоем легче.

Между нами лежал мой красный мяч, а за спинами нашими молчали черные развалины родильного дома. Солнце уже опустилось за них, и лучи его косо били сквозь проемы окон.

И никто из нас: ни я, ни Балабай, ни Танька, которая ушла с девочками в кино и что-то не возвращалась, ни идущий к нам по пустырю рыжий Сизарь, ни остальные ребята, что собирались сейчас идти на пустырь, — не знали того, что случится скоро, совсем скоро в этот жаркий вечер в опаленных недавней войной развалинах.

Команды собрались, и мой красный мяч снова взлетел в небо, и вот Балабай, ловко обыграв двух наших защитников, прорвался по краю и стремительно пошел на наши ворота. Крепкие загорелые ноги его часто-часто били мой красный мяч, не отпуская его далеко, и он катился неудержимо вперед.

Я бросился наперерез Балабаю. Еще немного, и он ударит по воротам. Вот он уже приостановился, вот

уже занес ногу над моим красным мячом, покорно ждущим удара, но не успел. С разбегу я сильно выбил мяч у Балабая из-под ноги, врезался в него, и мы оба упали.

А мой красный мяч, сверкнув алой дугой, исчез в черном проеме крайнего окна на втором этаже.

Мы долго искали его и никак не могли найти среди вороха кирпича и щебня, покореженных балок. Застарелый запах гари поднялся вокруг. Багровые отсветы солнца пылали на выщербленных стенах, наши голоса гулко и потерянно носились в пустоте. Понемногу все ребята вылезли из развалин. Мяч никто не нашел. Мы были убиты горем. Только Балабай был еще там, но его не было слышно. Мне стало обидно, мне стало жалко мой красный мяч. Я отошел в сторону и сел на землю, уткнув голову в колени. Балабай в это время появился в угловом окне.

— Ну что, никто не нашел? — крикнул он.

— Ладно, слезай, — я вяло махнул рукой.

— Небось найду, некуда ему деться, ты не бойся, слышишь? — крикнул он мне.

Я промолчал. Балабай исчез, и его снова долго не было слышно. Наконец мы услышали радостный крик Балабая:

— Нашел! Вон он куда закатился, под балку. Сейчас я его достану. Подождите, что это?!

Потом была пауза. Да, я точно помню паузу, томительную и тревожную. Мы все, особенно я, с нетерпением ждали красный мяч, а Балабай молчал. Уже стало темнеть, и оттого, что внутри развалин помрачнело, что пугающе чернели пустые квадраты окон, что там, за обгоревшими стенами, наш Балабай, я заволновался.

— Ну, что, достал? Выходи, Балабай! — крикнул я. Приглушенно донесся голос Балабая:

- Тут бомба!
- Что?!
- Бомба здесь!
- Как бомба?!
- Я не знаю...

Голос Балабая стал прерывист и глух:

— Она мешает. Мяч между стеной и балкой застрял, а балку отодвинуть боюсь: бомба. Еще сорвется... Я потихоньку...

Мы растерялись. Я хотел крикнуть Балабаю, чтобы он вылезал скорее оттуда, что нам всем страшно, что не нужен мяч, мне отец новый достанет, как послышался осторожный металлический скрежет. Мы в ужасе замерли. Кто-то бросился бежать, кто-то попытлся.

— Балабай! — закричал я, и я еще кричал, когда на меня обрушился грохот взрыва, и пламя осветило внутри развалины и ослепило меня. И я упал на землю, и все ребята упали, но, оглушенные взрывной волной и страхом, мы были живы, нас защитили обугленные стены, они выстояли и на этот раз. Кто-то, крича от ужаса, бежал прочь, падая и поднимаясь вновь. Кто-то лежал неподвижно, закрыв голову руками, а там, где был Балабай, медленно оседало облако черной пыли, и кусок стены медленно валился вниз...

Я помню, как обезумевшие наши матери и отцы хватали нас за руки, судорожно ощупывали и тащили прочь от этого страшного места. Все забыли про Балабая, и мать его еще ничего не знала, потому что работала во вторую смену, и никто его не звал, крича и стеная, но мы были живы, а Балабай остался там, где еще клубилась черная пыль.

Я вырывался из объятий матери, я тянул ее за руку туда, к Балабаю, и кричал другим отцам и матерям, что он там, что он хотел найти мне мой красный мяч...



Встретил друга детства на улице.

— Привет! Тыщу лет тебя не видел...

— Привет!

— Как жизнь?

— Да ничего... А как у тебя?

— Тоже ничего...

— Весна?!

— Весна!..

— Как жена, дочь?..

— Здоровы...

— А твои?..

— Нормально... Ну, бывай!

— Будь здоров! Звони!

И мы снова надолго расходимся под одним солнцем в разные стороны. Я смотрю ему вслед, он идет и идет,

покачивая толстый портфель, и, когда он уже почти теряется среди людей, я вдруг кричу ему:

— Тарзан!

Он оборачивается, недоумевает сначала, потом улыбается, поднимает приветственно свободную руку и кричит мне в ответ:

— Чита!..

Вот так-то лучше. Я уже не просто иду и улыбаюсь солнышку, а вспоминаю...

Тарзан! Это был кумир нашего детства. Его привезли в круглых железных коробках из Америки. И он царствовал на послевоенных экранах, восторгая полуголодную пацанву своими головокружительными прыжками с Бруклинского моста и подвигами в джунглях.

Царствовал он и в нашем маленьком клубе имени Полины Осипенко, единственном месте на левом берегу, где сразу после войны можно было посмотреть кино. Что могло быть более прекрасным для нас, мальчишек послевоенных лет, чем на полтора часа уйти из пропахшего керосином и картофельными оладьями, наполненного залатанным тряпьем, материнским раздражением, детским плачем и вдовьими слезами барака, — уйти в этот прекрасный мир джунглей, красавца и атлета Тарзана, очаровательной Дженни и их обезьянки Читы. А неподражаемый боевой клич Тарзана?!

После фильма мальчишки, расходясь по домам, орали что есть силы, стараясь повторить этот оглушительный вопль.

Лучше всех орал по-Тарзаньи в нашей компании Петька, еще он был сильнее и смелее всех, и потому в играх в «Тарзана» он исполнял главную роль и прозвище получил: Тарзан.

С некоторым смущением признаюсь и теперь, что в силу моего маленького роста и вдруг обнаружившегося у меня дарования балаганного комика роль обезьянки Читы досталась мне.

Это было унижительно, но я покорно изображал знаменитую обезьянку только потому, что над моими прыжками и ужимками весело смеялась Дженни — наша Танька. Таньку-балерину нельзя было не любить, она была как яркий цветок в нашем бедном и грубом детстве. Она была из какой-то непонятной для нас таинственной интеллигентной семьи, да еще из Ленинграда, да еще и отец у нее был инженер...

Но Танька-балерина носилась вместе с нами среди развалин, как «своя в доску» девчонка. Тарзан, издавая победные клики, умыкал ее из плена краснокожих дикарей в отцовских телогрейках и, прыгая по уцелевшим лестничным пролетам, нес ее в наш подвал, оборудованный под пещеру. Я по-обезьяньи скакал вслед за ними, мучительно завидуя Тарзану.

В нашей пещере горела свеча, на стене висели репродукции с изображениями Галины Улановой, вырезанные Танькой из «Огонька».

И еще на стене Танька приспособила кусок какой-то цветастой материи и на ней развесила наше оружие: немецкий армейский нож в ножнах, настоящий пистолет марки «ТТ», правда, без патронов, пулеметная лента с патронами и самодельный пистолет, деревянный, со стволом из алюминиевой трубки.

Был в пещере колченогий стол, тумбочка, табуретки, один венский стул и кое-какая посуда...

— Дженни! — устало говорит Тарзан, валясь на сдвинутые ящики, покрытые ветошью и мешковиной. — Тарзан хочет есть.

Дженни кормит своих мужчин вкусными пирожками, унесенными ею из дома, и блаженству нашему нет границ.

Насытившись, Тарзан снова ложится на лежанку.

— Чита! — говорит он, прикрыв глаза и удовлетворенно икая. — Почитай что-нибудь.

Я читаю «Великого Моурави», сев в изголовье Тарзана, а Дженни устраивается, свернувшись клубочком, у него в ногах.

Тихо теплится свеча, в темных углах подвала мелькают тени гордых воинов, звенят мечи, отважный профиль Георгия Саакадзе склоняется над нами. И когда коварный турок дает в руки Саакадзе коробочку с отрубленной головой младшего сына, безумие и мужество отца потрясают нас.

Дженни плачет, Тарзан негодует: «Вот гады, фашисты!», а мой голос захлебывается нервной жутью.

Потом Дженни рассказывает, как они с отцом ехали из Ленинграда в эвакуацию во время блокады, и были в Москве, и как отец водил ее в Большой театр, и она там видела балет «Лебединое озеро» с Галиной Улановой в главной роли.

И Дженни по памяти танцевала, напевая тонким голоском мелодию знаменитого адажио, — наша милая худенькая Одетта из далекого детства в красных развалинах, — свеча тревожно трепетала, блики слабого света ходили по стенам и по нашим очарованным лицам.

На моих глазах Тарзан, худой и нескладный, в перешитой, но все же болтающейся на нем отцовской шинелишке, наследстве умершего от тяжелых ран солдата, этот жестокий в драках, полуголодный задира, — он, замороженный танцами Дженни, превращался в Принца. Но Принцем уже давно был и я, и наступали самые отчаянные минуты в моей жизни, потому что наша Одетта выбор уже сделала.

Она танцевала для своего сильного и смелого Тарзана, глупая девчонка. Как и все девчонки на свете, она предпочитала силу.

* * *

...Мы пошли в кино на очередную серию о Тарзане. Что творится у входа в наш ветхий клубик! Бурлит,

орет и беснуется толпа мальчишек: здесь и ремеслуха, и придачинские, и монастырские, и отроженские.

Как пробиться в маленькое помещение, именуемое вестибюлем, а в просторечии предбанником, — как пробиться к окошечку кассы?..

Мы снимаем с себя шапки, Тарзан — шинель, я — телогрейку и отдаем все это Таньке. Она, взяв наши шмотки в охапку, отходит в сторонку.

Тарзан разбегаются и врывается в колышущуюся толпу, ввинчивает в нее свое худое длинное тело. Я ныряю в проход, пробитый Тарзаном и, уцепившись за его широкий солдатский ремень, отчаянно работая локтями, продираюсь вслед за ним.

Нас бьют, бьют больно: локтями, кулаками, по спинам и по головам. Но надо терпеть и вовремя давать сдачи. В предбанник мы пробились. А здесь—просто ад! Жмут так, что кости трещат. Гвалт стоит невообразимый, дышать нечем.

До окошка кассы метров пять.

— Лезь! — кричит Тарзан. Я карабкаюсь на его спину и вот уже стою обеими ногами на его плечах, согнувшись, вцепившись рукой в его волосы, готовый к прыжку. В другой руке у меня зажаты деньги. И Тарзан исполняет свой коронный номер. Он кричит по-Тарзаньи:

— О-о-о-о-го-го!..

Он кричит, налившись кровью от натуги и от тяжести моего тела; он орет так, как никогда до этого не орал; его неистовый вопль заглушает весь этот бедлам; он вопит артистически и так похоже, что на какую-то секунду-другую битва в предбаннике останавливается и все замирают и оглядываются.

А главное для нас — теряют бдительность и те, что у кассы.

Вот он, миг удачи!

Тарзан сильно толкает меня, посылая в полет,

и я взываю над морем круглых стриженных ребячьих голов и обрушиваюсь на них уже у самой кассы.

Судорожно, мертвой хваткой цепляюсь одной рукой за прутья железной решетки, которой, как в долговременном огневом укреплении, отгородилась от нас кассирша, другую руку моментально просовываю в окошечко и кричу, свесив голову:

— Петр Федорыч велел! Три билета!

Кассирша изумленно смотрит на мою перевернутую, спустившуюся откуда-то с потолка физиономию.

— Петр Федорыч велел! — ору я снова и швыряю ей деньги.

Кассирша бледнеет, у нее трясутся руки.

Господи! Как меня бьют! Бьют в живот, тянут за ноги в разные стороны и; как князя Святослава, раздирают на части. Но пока они это делают, ошарашенная кассирша, так толком ничего не поняв, быстро отрывает три билета и сует их в мою потную ладонь. Все!

А теперь очень просто. Я бросаю решетку, расслабляюсь, обмякаю, и меня, как мешок с опилками, передавая с рук на руки, перекатывая по головам, вышвыривают на улицу.

Избитый и растерзанный, я падаю к ногам Таньки и отдаю ей наши билеты.

— Молодец! — говорит Тарзан.

— Чита, Читачка мой миленький, бедненький, тебе больно, да? — сладко верещит Танька, обихаживая меня, заправляет на мне распотрошенную одежду, надевает на меня телогрейку, шапку.

— «Петр Федорович» подействовал? — ласково спрашивает Тарзан.

— Еще как! Аж глаза выпучила, — говорю я, млея в Танькиных руках.

Тарзан смеется. Дело в том, что Петр Федорович —

муж кассирши, пьяница, в очередной раз сел в тюрьму не без содействия жены. После суда, когда его сажали в «черный ворон», он кричал: «Ну, погоди, Машка! Выйду — я те дам!»

Итак, наш акробатический и психологический трюк полностью удался.

* * *

Едва мы уселись в шестом ряду на проходе, как увидели, что от боковой двери идет Минька-косой. Это высокий парень лет шестнадцати, типичный абортген тогдашней огородной Монастырки и главарь всего хулиганья. Он в аккуратной телогреечке, хромовых сапогах «в гармошку», в кепочке-восемиклинке на голове. Золотой зуб, по-тогдашнему «фикс», обнажала его хмельная улыбка на плоском лице.

В сопровождении двух очень похожих на него корешей он лениво бродил по проходам и разбивал, забавляясь, пуговицы на ветхих одеждах юных зрителей. Делал он это с помощью небольшого устройства из проволоки и пружины. Что-то нужно было нажать, пружина срывалась, и короткий толстый конец проволоки вдребезги разбивал пуговицу.

Кореша гоготали, а Минька-косой, если жертва не сопротивлялась, ласково трепал ее по плечу и шел дальше.

Если же кто-то пытался сопротивляться, то на строптивого наваливались кореша — они держали непокорного, а Минька-косой, ласково улыбаясь, разбивал все пуговицы, которые были на несчастном мальчишке: и на пальто, и на брюках...

Зрительный зал, когда появился Минька-косой, притих и теперь молча наблюдал, как тупая и злая сила творит произвол и издевается над личностью.

Мальчишку, который осмелился сопротивляться, ко-
реша сняли с места и поставили посередине прохода,
лицом ко всему залу, заставив поднять руки вверх.
Брюки с мальчишки упали, обнажив худенькие кривые
ножки...

Всю жизнь помню и буду до конца дней своих пом-
нить этого мальчишку с поднятыми вверх руками и с
кривыми, неестественно белыми и тонкими ножками,
торчащими из-под грубо, на живую нитку заштопан-
ной телогрейки.

Помню и свои ощущения: жалость к мальчишке, не-
нависть к Миньке, тошнотворное чувство бессилия,
страха и стыда, как будто это я стою посреди зала, и
гадливое облегчение от непричастности собственной ко
всей этой гнусности: все-таки это не меня распяли там,
а другого мальчишку. Слава богу, что нам достались
другие места.

Смеялись над мальчишкой, многие смеялись, но мно-
гие молчали, — в общем, единодушия не было...

Да и те, кто смеялся, делали это принужденно, не
от души, как говорится, а приспособиваясь к обстоя-
тельствам. Невесело смеялись.

Со своего места поднялся Тарзан, пошел — лицо
у него было бледно — к месту, где разыгрывалась эта
трагикомедия.

Танька хотела удержать его, но он вырвался из ее
цепких рук и пошел, на ходу расстегивая шинель и
снимая с себя свой широкий солдатский ремень,
перетягивающий в поясе его черную сатиновую
рубашу.

Пряжка у ремня литая, медная, тяжелая. Тарзан
намотал ремень на руку так, что с нее тяжело свисала
и, тускло поблескивая, покачивалась на ходу эта сол-
датская пряжка со звездочкой посередине.

Зал замер.

В это время Минька-косой сказал:

— Хватит, мне надоело. Надень штаны, пацан, будешь теперь умнее.

И повернулся было идти на свои места и увидел Тарзана, прочитал на его заострившемся лице решимость и ненависть, быстро оценил физические возможности этого парня, убойную силу бляхи в умелых руках.

Отступил на шаг и сунул руку в карман. Кореша его сделали то же самое.

— Петя-а-а! — пронзительно закричала Танька. — У них же финки!..

И бросилась к Тарзану, и догнала его, и снова схватила его за руку, но Тарзан снова вырвался и шел прямо на Миньку-косого.

Тот вытащил руку из кармана, и все увидели, как блеснула финка в его руке.

— Не подходи! Подпорю! — визгливо закричал Минька, ощерившись желтыми зубами и сверкая «фиксом». Тарзан сказал на ходу:

— А ты мне и не нужен! Уйди с дороги!

Обошел Миньку, подошел к мальчишке, натянул на него штаны и затянул на нем как следует свой отцовский солдатский ремень.

— Садись на место! — сказал Тарзан пацану. — А ты, — обернулся он к Миньке-косому, — если тронешь еще кого, я тебя так отделаю, что весь век калечкой будешь ходить, понял?!

— Что?! — заорал, захлебываясь слюной, Минька и перехватил финку наперевес. Он явно осмелел: ведь ремня-то с бляхой у Тарзана уже не было. — Что?! Что ты сказал, гнида?! Да я тебе сейчас кишки выпущу! Век мне свободы не видать, срок схлопочу, а тебя подпорю!

Минька-косой, размахивая финкой, впадая в истерику, наступал на Тарзана. Кореша его были наготове. Я больше не мог, придавленный страхом, сидеть на

своем месте и на ватных ногах подбежал к Тарзану и стал рядом с ним. Танька загородила Тарзана собой и завизжала:

— Ты не смеешь, негодяй, бандюга! Трое против одного, да?! Фашисты!..

— Пацаны! Что же вы смотрите, а? Их же всего трое! — закричал я, ужасаясь холодному блеску финки и нашей беспомощности. Зал напряженно молчал в ответ. Лишь мальчишка, тот самый, униженный и оскорбленный, помог чем мог: он снял с себя ремень Тарзана и бросил его нам. Тарзан быстро накрутил его на руку, тяжелая медная бляха снова поблескивала, покачиваясь...

— Запомним! — сказал один из корешей, покосившись на мальчишку, и показал всем свой кастет.

— Я всех запомню! — ярился, исходя злобой, Минька-косой, злобой теперь уже бессильной, потому что снова увидел в руках Тарзана ремень с бляхой, и это его останавливало, но и отстать от нас просто так он не мог, потому что это значило принять на себя позор на глазах у пацанов всего левого берега, навсегда подмочить свою репутацию отпетого хулигана, — ему надо было преодолеть себя, выйти из этого двусмысленного положения любой ценой; и Минька на глазах стервел: — Гниль! Параша! Ты Миньку-косого не знаешь, да?! — заводил и заводил он себя. — Уйди, стервоза, а то... а-а-а-а! — Глаза у него стали белые и словно бы ослепли на мгновение. Это было страшно, очень страшно, это была минута, когда Минька-косой мог стать убийцей, наверное, именно в такие минуты ими и становятся...

Погас свет в зале, из маленького окошечка вырвался, стрекоча, жгут голубого света, упал на экран, и победный клич настоящего Тарзана предотвратил драку.

— Где? Что?.. Не вижу?.. Где он?.. — нервно всхлипывал Минька в темноте. — Порежу, морду попишу гаду, век свободы не видать! — слабым голосом бормотал он свои теперь уже смешные слова...

Кореша подхватили Миньку под руки и поволокли на свои места.

Мы пробрались на свои. Пожалуй, это единственная серия, которую мы плохо запомнили. Нервное возбуждение колотило нас. После кино Минька с корешами будет нас ждать!

Тарзан шепотом инструктировал меня: бросайся сразу под ноги Миньке, финка у него одна, я наседаю на него, главное, обезоружить Миньку; а уж потом посмотрим. А ты, Танька, визжи, народ собирай.

Но народ уже собирался. Из задних рядов пробрался к нам потихоньку знакомый мальчишка с другой улицы и велел нам сразу не выходить, а дожждаться его, с ним еще человек десять собралось...

И еще несколько человек подкрадывались в темноте к Тарзану и шептали ему что-то на ухо.

В общем, когда кино кончилось и когда после всех во двор на яркое мартовское солнце, шурясь, вышли Тарзан, Танька и я и с нами еще десятка два решительно настроенных ребят, Минька с корешами, шипя и грозя, убрался...

Да, было дело! Были времена! Было детство!

Я иду под таким же сверкающим мартовским солнцем спустя столько лет, тяжелое пальто мое расстегнуто, шапка сдвинута на затылок; я иду, ничего не видя вокруг, и улыбаюсь грустно тому, что было с нами...



Мы в лесу, у дочери, в пионерском лагере, на побывке. Как водится, все разложено на траве, радостная дочка поглощает фрукты, а мать ее обцеловывает с головки до пяточек.

— Папа, посмотри, какой виноград, посмотри, зернышки видны. — Дочь, смеясь, опускает к моему лицу светящуюся гроздь.

Я отрываю губами нижнюю виноградинку и снова ложусь на траву. ...Так же величаво стояли здесь и тогда сухие сосны и дубы, только они моложе были лет на тридцать. От земли так же пахло разогретой лежалой хвоей, а вот в этом П-образном одноэтажном домике была тогда пионерская комната, и в ней по вечерам танцевала Таня.

Как она танцевала! Худенькая, она упоенно таращила черные влажные глазенки, закусив губу, накло-

няла маленькую черную головку к плечу партнера, и музыка несла и вращала ее, замершую от восторга, а ножки в белых парусиновых туфельках мелькали с сумасшедшей быстротой.

Выглядывая из-за чьего-нибудь плеча, я восхищенно наблюдал за ее вдохновенным полетом по тесной и низенькой нашей пионерской, по вечерам становившейся танцевальной залой, и тихо, безнадежно завидовал Витьке, ловко кружащему Таню.

За этим занятием меня застал Митька. Он толкнул меня, состроил рожицу и повел ее в сторону Тани:

— Влюбился, капитан, а?

— Иди ты... — Я покраснел.

— Ах, Таня, царица бала, наш капитан у ваших ног, в объятья Витьки она упала, а он и ею пренебрег...

Митька умел при случае замучить всех рифмованными экспромтами, и когда он был в ударе, с ним лучше было не связываться, а сейчас он явно был в ударе и его рябоватое лицо нервно подергивалось.

— Поп-то наш, а?.. Забегаю в палату, а он вишни тайком жрет... Согнулся у тумбочки и горстями... чавкает... Морда вся вымазанная, торопится...

— А откуда они у него? — удивился я: воскресенье, когда приезжают родители и привозят всякие сладости, завтра.

— Отец его завтра не приедет, переслал сегодня... Так он...

Митька аж задохнулся от гнева.

— Ты дал ему?..

— Конечно, еще как... ревет лежит...

— Зря... завтра с городскими играть, а он не в форме будет.

— Ах, Поп играть не будет, ах, Поп не в форме будет... — зло сымпровизировал Митька.— Куку поставим. Я вообще бы гнал таких из команды...

— Перестань ты! Кука еще маленький, не выдержит... Пошли к Попу...

Не могу сейчас вспомнить, почему его прозвали Попом. Это был добродушный, покладистый, слезливый, немного трусоватый мальчишка. Митька, хотя сам час-тенько издевался над ним, другим его не давал в обиду.

Сейчас Поп лежал на своей койке и горько всхли-пывал. Я сел около него. Митька, грозно скрестив ру-ки на груди, встал у грядушки. Поп открыл один глаз, увидел меня.

— Капита-а-а-н! — заскулил он. — Чего Митька дерется-а-а!

— Ладно, ладно... правильно он тебе дал, хотя и рановато. Нужно было завтра, после игры.

— Я хотел немного съесть, а остальное вам оста-вить!

— Все сожрал?! — сурово спросил Митька.

— Там в тумбочке еще полба-а-а-нки!..

Митька кинулся к тумбочке. Там, конечно, было уже не полбанки, там на дне осталось десятка два крупных, обваленных в сахаре вишен.

— Спасибо и на этом, Поп! — сказал я спокойно.

Поп судорожно всхлипнул, хотел было ревануть.

— Не реви! — приказал я, и Поп замолчал.

В полной тишине мы доели вишни... Только из пио-нерской неслись звуки полочки да зашумели в ночи над палаткой сосны.

— Вкусно! — сказал я.

— Вкусно! — подтвердил Митька.

— Ну вот что, Поп! — сказал я. — Завтра нам иг-рать с городскими. Сам Лука грозился приехать. Если мы проиграем, сам понимаешь, нам после лагеря луч-ше на улицу не показываться. Будешь держать Луку. Сыграешь хорошо — все простим. Договорились?!

Поп кивнул головой и облегченно захлюпал носом,

Так сложилась футбольная ситуация в нашем лаге-ре в одну из августовских ночей сорок восьмого года, накануне воскресенья.

Городские — это те ребята, которые не смогли попасть в лагерь, потому что он был тогда очень маленьким. Городские, завидуя нам вполне понятной завистью, имели возможность лишь в воскресенье приехать к нам в гости ранним поездом, и только в футболе они могли выразить свое презрение счастливым.

Последний раз мы у них выиграли, но тогда не было Луки, знаменитого нападающего Луки, чьи удары с левой ноги и проходы по краю были неотразимы.

Завтра Лука придет. Я долго не мог заснуть в эту ночь. Сдержит ли Луку наш Поп? Поможет ли позорная история с вишнями? Поп должен оправдаться.

В Митьке я был уверен, как в себе. Тогда я не понимал этого, но сейчас я знаю точно, что наш весельчак и балагур Митька, без которого в лагере было бы скучно, так старательно жил общественной жизнью, потому что он был как бы сыном лагеря.

Его мать, уборщица, обремененная большой семьей, просто не в силах была купить сыну путевку в лагерь. Мы шли в кабинет к начальнику, дружно ревели там: мол, без Митьки и самодеятельность развалится, и команда; и наш добрый начальник ехал в город, как-то там договаривался в заводском комитете и привозил Митьку с собой просто так, бесплатно.

И Митька пел, танцевал, участвовал в драматических сценках, играл в футбол, в походах нагружался тяжелее всех, чаще всех дежурил в столовой.

И мы все, и девчонки, и мальчишки, любили нашего Митюху, а он весь светился от этой любви и благодарным мальчишеским сердцем платил нам за все.

Валерка, наш вратарь, мальчишка из детского дома — их корпус расположился на территории пионерского лагеря, — был просто фанатик футбола. Он любил мяч до самозабвения и ходил с ним в обнимку целыми днями, приставая к нам: ребята, побейте мне, а? Если девять из десяти забьете, отдаю свой компот...

Центром защиты будет играть Витька, мой соперник, высокий красавец Витька. Любимец девчонок, первый партнер на танцах, он меньше нас увлекался футболом, но играл хорошо.

Ну, а я должен завоевать любовь Тани, я забью гол в ее честь, я забью его так красиво, что все ахнут.

...Лука забил нам гол на первой минуте... Я начал с центра, откинул мяч Эдику, тот потерял его, защитник городских точным длинным пасом вывел вперед Луку.

Тот, как всегда, стремительно прошел вперед по левому краю, обвел защитника и вышел прямо на Витьку.

Витька не торопясь двинулся ему навстречу, а Лука, хитрый Лука, увидел, что Витька загородил мечущегося в воротах Валерку, сильно, хлестко ударил, не переставая двигаться вперед, по воротам.

Девочки ахнули, и я увидел, как Таня закрыла лицо руками.

Начальник лагеря поставил мяч в центре поля.

Митька стоял слева от меня и зло ворчал: «Наша Таня громко плачет, нам воткнули сразу «мячик».

Городские обнимали Луку, а он стоял спокойно, как уверенный в себе мастер: подумаешь, дела какие...

— Судья, начинай, а то нам некогда... — лениво сказал он и добродушно улыбнулся.

— Поп, — шипел я сквозь зубы, — не успеваешь за Лукой — падай ему в ноги, встречай корпусом, висни на нем, только не давай ему бить!

А Витьке я крикнул нарочно громко:

— Тебе только краковяк плясать, пижон...

— Ладно, ты сам играй... — заорал Витька, и это было хорошо: он разозлился.

...Первый раз Лука растерялся, когда он три раза подряд обвел Попа, но тот все равно был на его пути. Лука откровенно со своей левой ударил мячом прямо в лицо нашему бедному Попу. Тот ослеп и ошалел от удара, но, ослепший и ошалелый, он продол-

жал выскнуть на Луке, без рук, оттесняя его в угол поля. А мяч от героической морды Попа отскочил к Эдику, умный и спокойный Эдик бросился с мячом вперед, крича мне: уходи вправо!

Я побежал вправо, отвлекая за собой двух защитников, Эдика свалил с ног центральный защитник, но он продолжал лежа бороться за мяч и вытолкнул его из-под ног защитника. Тот не увидел мяч сзади себя, и Митька, мчавшийся изо всех сил вслед за Эдиком, что-то отчаянно крича, с ходу залепил мяч по воротам, и тот со свистом вошел в «девятку».

Митька, так же крича и размахивая руками, побежал обнимать Попа, который все еще тер глаза от попавшего в них вместе с мячом песка. И мы все, и я, и Эдик, и Витька, и другие ребята набросились на него и долго тискали его в своих объятиях.

Лука неистовствовал на своем краю, он творил чудеса, но так же неистовствовал и Поп.

Лука сшибал его с ног, обводил его по несколько раз кряду, но каждый раз из поднятой тучи пыли поверженный Поп вставал, и с горящими глазами вновь бросался под ноги знаменитому форварду.

Наконец случилось невероятное. После очередной изнурительной возни с Попом на краю поля Лука не выдержал, потерял мяч, и под восторженный рев болельщиков Поп помчался с ним к воротам.

Разъяренный Лука вначале недоумевающе смотрел в мокрую худую спину своего опекуна, потом бросился за ним вслед. Он догнал его в штрафной площадке, и хотя мяча у Попа уже не было, Лука не мог удержаться и ударил его сзади по ногам.

Поп взвыл от боли и рухнул на землю.

...Пенальти бил, конечно, я. У меня даже закружилась голова от гордого сознания значительности этой минуты. Дрожали ноги. А наш стадиончик ревел, и в этом реве я хорошо слышал тонкий писк Тани и ви-

дел, как она испуганно обняла подругу, прижалась к ней и не сводит с меня глаз.

На меня смотрит сейчас эта единственная девочка в мире, она ждет от меня подвига, она догадывается, что он будет совершен в ее честь, и я брошу к ее ногам этот гол, а она, благосклонно посмотрит на меня и величественно протянет мне свой платочек с вышитыми в уголке ее инициалами. И я буду ее рыцарем, и горе тому, кто оскорбит ее честь. Я вызову его на поединок, этого надменного красавца Витьку, и пронжу... пронзю... проткну его своим беспощадным копьем.

Тяжелый конь храпел подо мной и рвался вперед, в узкую прорезь забрала я видел перед собой рыцаря на коне, закованного в латы. Пика его была нацелена в мое разрывающееся от любви сердце.

И я забил этот гол. Мы выиграли, и я вкусил все радости победителя. Я угощал Таню виноградом, что привез отец, она, смеясь и лукаво посматривая на меня, ловила губами виноградинки, просвеченные солнцем. Вечером на танцах, как только грянули первые такты вальса, я смело пересек всю залу и подошел к Тане, она положила мне руки на плечи, и мы закружились, и все исчезло; и Витька сейчас был возсе не нужен, и маленькой пионерской не было, была теплая земля в мягкой траве и в цветах, и на этой земле — мы с Таней, и ее глаза кружились передо мной.

И вдруг я увидел, как по траве и цветам, ковыляя и согнувшись от боли, с черным лицом бредет Поп, обняв за шею Митьку, Митька зло смотрит на меня и выдает в мой адрес самый лучший экспромт: «Так вот жизнь и идет: капитан наш с Танькой пляшет, Поп-бедняга слезы льет!»

Я кружусь, и передо мной — то сияющие Танины глаза, то несчастный побитый Поп.

Я хочу остановиться, хочу сказать Тане что-то очень важное, но она не выпускает меня из своих маленьких цепких рук. Вальс продолжается...

Свадебные самолеты

рассказ



Памяти отца посвящаю.

Весь в глубоких снегах и под черным ледяным небом город на берегу Амура оцепенел от мороза и затишья. Казалось, никакой возможности для жизни не было в этом вселенском холоде, но под крышами домов она шла своим немудреным ходом, и от прочных каменных стен струилось слабое и непрерывное тепло.

Ах, какой мороз разразился в эту новогоднюю ночь, и голубые тени застыли в складках сугробов, и смерзшаяся бесконечность тайги окружила ничтожный кусочек света и тепла! И тишина безмолвствовала. И все не двигалось и как будто застыло в этих формах и линиях. И откуда-то из дальних сопок медленно приплыл в город тяжелый и тревожный гул. Прошел над городом, отзываясь слабым эхом в задребезжавших стеклах, и исчез.

— Тиха-а! — крикнул отец, весь напрягшись и глядя сузившимися глазами в черное окно.

Все умолкли. Летчики повернули лица к окну, зажав в больших ладонях стаканы со спиртом, и улыбки медленно сходили с их обветренных губ, и профили их тяжелели от возникшего предчувствия беды.

Кто-то из женщин прошептал: «О, господи!»

Отец, опрокинув стул, ринулся к телефону, а тот уже пронзительно трещал ему навстречу; и все летчики уже сгрудились у тумбочки и тянули круглые стриженные головы к мембране.

А в центре стоял отец, двумя руками вцепившись в трубку, и лицо его исказилось и постарело. Потом он закрыл лицо руками и сказал глухо:

— Валька Лыкашев разбился!..

Тина закричала, и я проснулся от ее невыносимого горестного крика... Равнодушное и жестокое время... Вот я уже забываю и с большим трудом могу только смутно представить себе сейчас, какие они были тогда, эти люди, окружавшие мое детство:

Осталась только сердечная память о них, а лица поразмыты временем, и лишь иногда отрывочные, как бы запечатленные на стоп-кадре их облики вдруг вспыхнут в сознании и потянут, потянут за собой томительную вереницу смутных воспоминаний...

В прошлом году в самом начале лета я был в Одессе. И в один из жарких дней июня валялся, разомлевший от одуряющего солнца и непрекращающегося шума прибоя, на одном из одесских пляжей.

Из моря, по колено в изумрудной воде, выходила девушка и, держась за локоть идущего рядом с ней парня, снимала с головы голубую купальную шапочку.

Она сняла ее и встряхнула головой, разметав черные, коротко остриженные волосы. Подняв лицо к парню, она что-то говорила ему, смеясь...

Вот и все. Только бывало ли у вас совершенно фантастическое ощущение мгновенного смещения времени, когда кажется, что все, что вы сейчас видите и чув-

ствуете, происходит не сейчас, а много времени до этого? Все то же, все. Но только это когда-то было, давно, было так же ярко и отчетливо, напрочь забылось вами потом и вдруг зримо, до осязаемости вспомнилось.

И вот это движение руки девушки, поднятой к голове, и поворот ее головы, и маленькая белая ладонь, лежащая на сильной смуглой руке парня, и застывший полет коротких черных волос — все это я уже видел.

Из волны Амура за много тысяч километров от этого моря, тридцать с лишним лет назад так же выходила нанайка Тина, держась за локоть Вальки Лыкашева, и так же было поднято к нему ее лицо, и она, так же смеясь, что-то говорила ему.

Наверное, это было мое первое открытие человеческой красоты, неосознанное, но почувствованное маленьким сердцем, потому что оно зашлось радостью предстоящего ему долгого бытия в мире этих удивительно красивых и сильных людей, дрогнуло от переизбытка благодарности, и я помчался по речному песку навстречу им, крича восторженно:

— Тетя Тина-а-а! Дядя Валя-а-а!

Лыкашев подхватил меня и поднял вверх, Тина лопала, хохоча, мои ноги, я визжал и брыкался, и мы все трое упали в воду, и брызги, сверкая на солнце, поднялись вверх. Летчики улыбались, глядя на нас, и, поводя сильными плечами, нежились на песке.

Мать с отцом плавали далеко в Амуре, и течение несло их на желтую узкую косу. На эту длинную полосу песка однажды, молча вывалившись из-за сопки и срезая кренящимися крыльями гребни амурских волн, рухнул большой самолет, пропахал глубокую борозду в мокром песке и задымился.

Оцепенев от суеверного ужаса, нанайцы видели, как из кабины самолета медленно выбрался человек, свалился на песок, встал и, шатаясь, закрыв лицо руками, побежал прочь; потом вернулся к самолету и исчез уже

в густом черном дыму. И снова появился, волоча на спине другого человека. Он торопился, падал, вставал, вновь поднимал товарища и тащил его за собой.

Тина тоже видела все это из окна маленькой школы. Когда она бежала по берегу навстречу тем, двоим, самолет взорвался, окутавшись огнем и черным дымом, тугая волна бросила Тину на песок. Но она тут же вскочила и снова изо всех сил бежала к тем людям, упавшим с неба, потому что они больше не поднимались после взрыва.

Они лежали рядом, один из них медленными движениями рук ощупывал себя и улыбался, другой лежал неподвижно, уткнувшись лицом в песок.

Тот, что улыбался, говорил прерывистым шепотом: — Валька, родной, друг ты мой, спасибо... вытащил... я тебя... по гроб... не забуду... а я уже думал: все... и плакал, когда мы падали... веришь... нет...

Он улыбался, глядя заплаканными глазами в небо: — А теперь мы живы... слышишь... Валька... смотри... девушка... красивая какая...

Это был мой отец.

Тина встала на колени подле того, второго, что лежал лицом в песке, и с трудом перевернула его. Тина громко запричитала от страха и от невыносимой жалости к этому большому и такому беспомощному сейчас человеку. Она плакала и говорила по-нанайски слова, которые ее племя создало, чтобы выразить большое горе и великую жалость к чужому несчастью.

На поросшем сухой травой откосе, поодаль, неподвижно стояли старые нанайцы, зажав в зубах потухшие трубки. Их сморщенные плоские лица были обращены к сопкам, и в выцветших слезящихся глазах покоилась законченная, одним им понятная мудрость.

В поселке глухо застучал бубен. Это проснулся старый плешистый шаман. Он был добрый старик, сразу полюбил Вальку Лыкашева и с величайшим усердием

выгонял духов из покалеченного тела своего молодого друга. Валька лежал на высоких подушках с забинтованной головой и толстой белой ногой, привязанной веревкой к низкому потолку и весело смеялся. И я тоже смеялся, мне не был страшен этот пыхтящий и бормочущий старик, который к тому же стал быстро уставать, охотно прекращал свои неуклюжие прыжки и смеялся вместе с нами. А еще он любил выпить. «Полечив» Вальку и отдышавшись, он садился на табурет возле больного и визгливым голосом начинал петь на невообразимом русско-нанайском наречии. Старик был хитер и плел что-то о Тине, о том, что такую жену нигде не сыскать, как не найти ни одного молодого рыбака, не мечтавшего привести в дом такую девушку. Он хитро подмигивал мне, я, ничего не понимая, смеялся; а Тина краснела, но преданно смотрела на Вальку и все ходила и ходила вокруг него, поправляя то подушку, то одеяло. Кончались эти песни тем, что Валька давал старику денег, и через некоторое время тот появлялся уже с бутылкой. Выпив и закусив вареной горбушей, старик совсем размякал от избытка добрых чувств и только смотрел на Вальку и говорил, что врачи правильно сделали, оставив летчика здесь, в этой избушке, что они с Тиной быстро поставят его на ноги, что хорошо ему сейчас на душе, есть кому отдать оставшиеся в сердце запасы любви, что какой хороший Валька: разрешает ему иногда пошаманить. Ведь никому вреда нет от этого, а он больше ничего делать не может... И умолкал, глядя перед собой.

Такая бесконечная печаль стояла в глазах этого вечного нанайца, великий Амур шумел за окном, сильный ветер гнул огромную тайгу, и я затихал совсем, прижавшись к потрескивающей печурке. Валька спал, у ног его сидела Тина, улыбаясь чему-то своему, медленно расчесывая коротко стриженные черные волосы. Чего-то ждала она в жизни, и это было связано

с молодым и сильным летчиком, упавшим к ней с небеса, и тысячелетняя кровь предков разрывала ее робкое сердце непонятной тоской и волнением. Так молодая птица кричит, в первый раз пускаясь в дальний полет.

Уже много лет спустя, вспоминая Вальку Лыкашева и Тину, седой отец мой говорил всегда о необычайной силе этой любви, коротко вспыхнувшей в дальней суровой тайге, в ледяных сумерках великой войны. Лицо его всегда в эти минуты разглаживала торжественная грустная улыбка, а мать моя молчала и опускала глаза или находила какое-нибудь дело, чтобы оставить своего мужа одного.

А отец говорил мне, подростку, только начинающему ощущать смутное волнение перед образом женщины, и юноше, уже бегающему на свидания к девушкам, и уже взрослому женатому мужчине, — он говорил о великой ценности этого дара природы.

Свадьба была в августе сорок второго, когда Амур разлился. Летчики собирались у нас и долго о чем-то шептались. Отец знал, что ему влетит за это от начальства, но согласился.

До поселка, где жила Тина, недалеко. Минут десять лета. Свадьба была в доме невесты. В два часа все были в сборе, стол был накрыт, мать с женщинами делали последние дела на кухне, а двое летчиков прибывали над крыльцом дома скрещенные крест-накрест рыбацкое весло и пропеллер.

Раскосые мальчишки и девчонки, ученики Тины, выстроились попарно, в галстуках, с горнистом и барабанщиком впереди. На откосе изваяниями застыли с неизменными трубками в зубах старые нанайцы.

Отец вместе с председателем рыболовецкого колхоза стоял в центре всего этого живописного построения.

Амур был необычайно тих и спокоен и ярко блестел под солнцем, а оно уже нависло над дальними сопками, замкнувшими горизонт, и било всем прямо в глаза.

за. И поэтому не сразу увидели, как возникли в небе, далеко развернувшись от солнца, спускаясь к Амуру, два маленьких гидроплана.

Но вот они уже стали видны, вот они уже неслись крыло о крыло над молчаливой рекой и вдруг коснулись маленькими лыжами воды и, яростно взревая моторами, скрылись в туче ослепительных брызг. Потом, тихо и торжественно покачиваясь на волнах, они встали у самого берега, рядом с домом Тины.

И все увидели, что в задней кабине первого самолета сидела невеста, а в задней кабине второго — жених. От самолетов до берега осталось метров тридцать воды, но уже спешили к ним две нанайские плоскодонки с двумя молодыми рыбаками на веслах.

И летчики, которые вели свадебные самолеты, бережно с рук на руки передали рыбакам молодых.

Потом Тина и Валька Лыкашев рука об руку шли по песчаному берегу к дому своего счастья. Сзади шли два русских летчика и два нанайца-рыбака.

Невеста была в ярко расшитом нанайском платье, жених в черном костюме и при галстукке. И такой маленькой и хрупкой казалась растерянная и бледная Тина рядом с огромным, счастливым и не скрывающим своего счастья, неудержимо улыбающимся Валькой.

Они подходили все ближе и ближе, под охрипшие звуки горна и стук барабана, и запел вдруг в руках старого шамана бубен, необычайно мелодично и торжественно, а шаман стоял неподвижно, не сводя горящих глаз с молодых, и только старые сморщенные руки его делали что-то невообразимое с потрепанным бубном. Все сдвинулись со своих мест и образовали живой коридор и что-то говорили жениху и невесте, стараясь перекричать друг друга. Уже поднялись молодые на крыльцо и хотели переступить порог, как с откоса вдруг донесся пронзительный крик. Тина испуганно и резко обернулась. Какая-то старуха нанайка

кричала, яростно жестикулируя. А остальные старики стояли так же неподвижно, с погасшими трубками во рту и смотрели, казалось, поверх голов волнующихся и радостных гостей.

Тина сбежала с крыльца, гости расступились, и Тина пошла к старикам. Их разделяла небольшая полоска высохшей травы, когда Тина остановилась напротив. Она стала так же резко и гортанно что-то кричать им, показывая на свое сердце, на толпу гостей у ее дома, на небо, на сопки, на большой город, дымящий трубками на горизонте. Старуха отвернулась. Остальные молчали. Тина вернулась к Вальке, взяла его под руку и так посмотрела ему в глаза и так улыбнулась ему, что летчики, заорав от восторга, подняли жениха и невесту на руки и внесли их в дом.

И началась свадьба. Она продолжалась всю ночь...
...Конец этой истории рассказывать невыносимо.

Помню залитое слезами бледное лицо отца и красный цвет материи, затянувшей гроб, где лежало то, что осталось от Вальки Лыкашева, и куда я так и не заглянул: боялся, был слишком мал для этого.

А Тину я просто страшился: так грозна она была в своем горе, маленькая и окаменевшая, она посылала, казалось, проклятие всему миру. Вокруг нее стояли огромные летчики и рыдали.

Тина сама дописала конец легенды о любви русского летчика и нанайской девушки. Когда, после похорон, ее ненадолго оставили одну, она пришла на берег Амура, прошла немного по его ледяному покрову вплоть до большой полыньи, выбитой рыбаками для своих рыбацких нужд, и вошла в нее. Потом над прорубью так же молча стояло ее племя с плоскими лицами и смотрело в сверкающую снегами даль, где видело то, что никто не мог увидеть. Только та старушка нанайка, которая хотела остановить Тину на пороге ее счастья, смотрела на черную воду Амура, плещущую у ее ног, и слезы текли по ее желтым и сморщенным щекам...

Мгновение

рассказ



До начала просмотра было еще минут пятнадцать. Гена почему-то волновался в этот раз, хотя съемка была обычной — рядовой сюжет к передаче о природе, разве что живая натура тогда его увлекла, и он надеялся сегодня увидеть интересные кадры, и это ожидание ему было приятно и знакомо, и он точно уже представлял себе, как Сашка, на этих кадрах, щелкнет пальцами и скажет: «Ай да Гена, ай да молодец», а Олег протянет басом: «Во дае-е-ет!», а Петр Иванович, главреж, некоторое время умно помолчит, а потом изобразит нечто неопределенное худыми руками и скажет: «А знаете, в этом что-то есть...» И уйдет, высоко неся свою маленькую седую голову на длинном теле.

...Улыбаясь, Гена заглянул в полутемный просмотровый зал, в углу шевельнулось что-то белое, и прервался какой-то звук.

Гена прислушался.

— Это ты, что ли, Верка?..

— Ага.

Она сморкалась в платок.

— Ты чего плачешь?..

— Плачу... уже не плачу... не буду больше.

— Сигарету хочешь?

— Спасибо...

Гена сел рядом. Они закурили. Вера, тяжело вздохнув, выпустила длинную струю дыма.

— Смотрели пленку твою в монтажной, ничего есть кадрики. Ты, в общем, молодец, Гена.

Она посмотрела на него, как будто впервые увидела.

— Ты что, талантливый, Гена?..

— Я почти Урусевский. Лет через десять я сниму фильм, в котором ты будешь героиней. Я сделаю тебя кинозвездой, и мы прославимся на весь мир...

Гена шутливо обнял ее. Вера осторожно повела плечами.

— Я согласна монтировать твой шедевр, но в звезды я не гожусь...

Гена внимательно посмотрел на нее.

— Ты что, снова несчастная?

Вера улыбнулась, задумчиво глядя на тлеющий краешек сигареты.

— Чем ты хочешь мне помочь, жалельщик мой?.. Позовешь меня в ресторан?

— А что, неплохая идея!.. Да брось ты горевать...

Гена старался развеселить Веру как умел, он был весел, и ему хотелось, чтобы и все вокруг него были веселы. А плакала она почему?.. Мало ли! Женские слезы скоро высыхают.

Собрались все члены операторского совета, и просмотр начался...

Широкая медленная степь соединялась с небом на горизонте, слева в кадр попадал край дубовой рощи, просвеченной вечерним солнцем, и все было прозрачно

и свежо вокруг от недавно прошедшего яростного дождя, и так легко дышалось, и кружила голову огромность этой красоты.

Гена, еще и еще раз проверяя панораму, вздрагивал от нетерпения, от предвкушения азартной работы, от радостного осознания неминуемой удачи, потому что место было выбрано отличное, а свет... О таком свете ребята могут только мечтать!

— Ну что, начнем? — крикнул он.

— Давай! — закричал в мегафон ассистент, и его услышал мальчишка, еле видимый подле самой рощи, и замахал над головой белой рубашонкой.

Сначала было тихо, очень тихо, и тишина эта вся была наполнена ожиданием. Остановилась наполовину скрывшаяся за горизонтом черная туча, беззвучно низвергающая завесу дождя на маленькую деревушку по ту сторону далекой реки, неподвижно стояли облитые солнцем деревья, молчала степь, и капля медлила упасть с травинки на землю...

— Во дает! — первым не выдержал Олег. Гена вздрогнул, поморщился от досады, но зашикал Петр Иванович, и Олег умолк.

А Гена уже тянул медленную панораму по верхушкам деревьев, и неясный гул слышался, далекий и чуть слышный, потом он стал различим от тишины, гул вторгался в тишину неотвратимо. Гена, волнуясь, повел объектив вниз, а сам замер от восхищения. Как призраки, в туманном мареве от парующей после дождя земли почти по грудь, в нарастающем гуле плыли меж деревьев кони с развивающимися гривами. Табун гнали по ту сторону рощи, но эффект был поразительный, и, совсем не дыша, Гена сначала пропустил через неподвижный кадр почти весь табун, потом плавно повел камеру вслед, осторожно фиксируя неуловимо изящные движения лошадей...

— Ай да Гена!.. — Это Сашка защелкал пальцами в профессиональном восторге.

— Перестань! Выгоню! — рассвирепел Петр Иванович.

Но Гена ничего не слышал. Он вновь переживал тот момент, когда он оторвался от камеры и увидел, что до края рощи осталось немного.

Сейчас табун вырвется из-за рощи и повернет прямо на камеру. Трясущимися руками он снял объектив, схватил подсунутый ему ассистентом трансфокатор, поставил его. Табунщики, гикая и щелкая кнутами, мчались в степь, разворачивая табун на камеру, и, когда табун развернулся, Гена припал к камере, мягко и стремительно повел ручку трансфокатора, встретив в самом конце разворота новое движение табуна.

Высоко, разом поднимая передние ноги, занося вбок задние, упрямо наклонив гордо посаженную, с белой проплешиной на лбу голову, мчался и мчался на него гнедой жеребец, ведя за собой весь табун. Гена застонал от удовольствия, держа в фокусе только этого красавца, а весь табун с размытыми очертаниями медленно и грозно двигался на него. Степь гудела, и дрожала под ногами земля, а Гена кричал и, размахивая руками, делал знаки, чтобы табун гнали прямо на него.

Табунщики мчались справа и слева, неслышно взмахивая длинными кнутами.

Гена едва успевал выхватывать из хаоса и гула отдельных лошадей, их морды, мельтешение ног. Но вот жак не пошел прямо на него, испугался мудрый жеребец и метров за сто от камеры стал делать большую дугу вокруг Гены и его камеры, уводя весь табун в сторону.

Гена ругался сквозь зубы, отчаянно ворочая камеру, обзывая жеребца трусом, и, когда табун уже проходил мимо него, он вдруг крупно, у самых глаз своих увидел изумительно красивую и испуганную морду жеребенка. Изо всех сил семеня тонкими ножками, прижимаясь к большому боку грузно скачущей матери, скосив потем-

невший от страха глаз на Гену, он мелькнул в кадре и исчез. Судорожно шаря объективом, Гена не нашел больше жеребенка, а табун умчался, и стало снова тихо.

Генка, опустошенный, сидел и курил, когда подъехал табунщик и, не слезая с лошади, сказал:

— Больше гонять табун не будем. И так три раза гоняли. — И зло добавил: — Это же лошади!

И ускакал.

Гена сидел и курил. Его мучила идея.

...Через два дня Алешку — так звали жеребенка — вместе с матерью рано утром вывели за ворота конезавода. Грузная мать его по кличке Пурга, в прошлом знаменитая скаковая лошадь, не раз бравшая призы на международных скачках, теперь взнузданная и старая, покорно брела вслед за служителем, а Алешка, перебирая тонкими ножками, шел рядом с ней. Так их привели снова на то место, где они вместе с табуном несколько раз бегали совсем недавно.

Мать тихо заржала. Алешка прижался к ее теплому боку и тревожно косил глазом на приближающихся к ним людей.

— Ну, здравствуй, Алешка! — сказал Гена и протянул руку, но жеребенок прынул в сторону, отбежал немного и стал, отвернувшись. Мать обеспокоенно заходила на месте, оседая на задние ноги, стараясь вырваться из крепких рук служителя. Мальчишка в белой рубашке подошел к Алешке, гладил его и что-то шептал ему на ухо.

— Ну что, начнем! — решительно сказал Гена, взял камеру и пошел к вертолету.

Если бы он знал, что все так получится, чем кончится сегодняшняя съемка... Впрочем, откуда он мог знать, да и не думал он сейчас ни о чем, кроме тех кадров, что снились ему эти две ночи...

...Изумрудная, блещущая под солнцем степь простерлась до тихой речки, и тень от рощи, а из этой те-

ни вырывается Алешка, и начинается стремительный бег. Как красив его стригущий полет над землей, тонкие ноги едва касаются травы, оглушительно ревет вертолет, в открытую дверцу бьет горячий тугой ветер, а Гена, вцепившись в камеру, упоенно снимает, снимает.

— Ниже! — кричит он.

— Ниже!

— Еще ниже!

Зеленой орущей птицей с тысячью крыльев повис вертолет над маленьким Алешкой и гонится за ним, и ослепленный красотой всего, что он сейчас снимает, Гена не замечает, как прижаты уши у Алешки, как скалится в страхе его красивая мордочка, как из-под рожи, вырвавшись наконец из цепких рук служителя, тяжело скачет к Алешке, пересекая степь, его старая мать.

Сейчас Алешка должен начинать полукруг по степи, чтобы потом радостно поскакать навстречу матери, а вертолет в это время резко возьмет вверх, чтобы с большой высоты на предельно общем плане Гена мог снять встречу матери и сына.

Пусть эстетствующий Олег упрекает его в сентиментальности, пусть, но это будет красиво, черт возьми, эта свежая утренняя степь, солнечная и ясная, и красивые животные, и встреча их, и жизнь, и счастье, и продолжение жизни...

Алешка встал как вкопанный. Гена успел заметить в объективе, как судорожно ходили его тонкие бока, как ошетинилось грива, но вертолет уже пронесся мимо. Гена злобно выругался, поднялся в кабину к летчикам и сказал, чтобы все повторили сначала... И, развернувшись и грозно ревя, снова зашел низко из-за рожи вертолет, и снова погнал маленького Алешку по огромной степи, и снова бил в лицо Гене горячий ветер, и он хищно припал к камере и снимал отчаявшегося убежать от страшной птицы жеребенка, скакав-

шего теперь уже обреченно, часто задевая ногами землю.

— Ниже! — кричал Гена, и вертолет уже шел почти над самой землей, преследуя Алешку, петляющего по степи. В объективе беспорядочно мелькала обезумевшая мордочка загнанного жеребенка, тонкие ноги, налившиеся кровью глаза, которые уже не испуганно, а покорно косили на Гену.

Сердце Гены заболело от тяжелого предчувствия. Алешкиной беды, но было уже поздно жалеть его, и ревел вертолет, и в голову бил тонкий железный скрежет камеры...

Последнее, что увидели все, как заваливался на передние ноги и падал медленно, на лету, на бок Алешка и бежал к нему мальчишка в белой рубашонке...

Включили свет...

Гена сидел, опустив голову. Все молчали.

Петр Иванович спросил тихо:

— Загнал жеребенка?

Сашка начал было:

— Ну ладно, чего вы все? В «Войне и мире» небось не одну лошадку угробили... Зато кадры у Генки какие!

Петр Иванович даже не посмотрел на него, но Сашка умолк. Петр Иванович встал, быстро заходил туда-сюда, выпрямив худую спину, потом остановился возле Гены, хотел что-то сказать, но махнул рукой и вышел.

Потихоньку вышли все. Только Вера сидела рядом, не шевелясь. Гена сказал:

— Я же тебя просил отрезать эти кадры! Я же тебя просил!..

Вера сказала, вставая:

— Пойду монтировать твою пленку. Завтра передача. А те кадры я вырежу. Тебе на память. Вот так, жалельщик мой.

И ушла, осторожно прикрыв дверь.

СОДЕРЖАНИЕ

КРАСНЫЕ КАМНИ. Повесть	3
Рассказы	
ГАЛКА	143
МОИ КРАСНЫЙ МЯЧ . . .	152
ТАРЗАН	159
ГОЛ ДЛЯ ТАНИ	170
СВАДЕБНЫЕ САМОЛЕТЫ . .	177
МГНОВЕНИЕ	185

Рецензент — Н. Коноплин

ИБ № 1427

Валентин Васильевич Семенов

КРАСНЫЕ КАМНИ

Повесть, рассказы

Редактор Э. И. Баранников. Художник Ю. Зибров. Художественный редактор Л. Р. Карюков. Технические редакторы Т. И. Селютина, С. Т. Поляков, Е. А. Парамонова. Корректор М. Г. Пожидаева.

Сдано в набор 04.11.83. Подписано в печать 25.01.84. ЛЕ07101. Формат 70x108¹/₃₂. Бумага типографская ЛЭ 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,4. Усл. кр.-отт. 8,66. Уч.-изд. л. 8,66. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2992. Цена 40 коп. Центрально-Черноземное книжное издательство, 394088, г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2. Типография издательства «Коммуна». 394746, г. Воронеж, проспект Революции, 39.

Электронный вариант книги:

Скан, обработка, формат: manjak1961

40 коп.



В. СЕМЕНОВ • КРАСИВЫЕ КАМНИ